

Василиса Яровая

Пекарня для дракона

Улица Трёх Лун. Книга вторая



Василиса Яровая

Пекарня для дракона

Серия «Улица трех лун», книга 2

<https://litres.ru/74625042>

SelfPub; 2026

Аннотация

Я всегда мечтала о собственной пекарне. Чтобы по утрам пахло свежим хлебом, покупатели выстраивались в очередь, а начальство не портило жизнь.

Мечта сбылась. Правда, в другом мире!

Теперь я хозяйка старинной пекарни на Улице Трёх Лун. Вот только печь здесь волшебная, прошлое моей семьи окутано тайнами, а к наследству прилагается дракон с весьма непростым характером.

И всё бы ничего, но есть одна маленькая проблема: я с детства до ужаса боюсь настоящего огня!

Придётся учиться договариваться с драконом, раскрывать семейные секреты и спасать дело, о котором я мечтала всю жизнь.

Говорят, счастье пахнет свежей выпечкой. Что ж, проверим! Главное — не спалить пекарню раньше времени.

Содержание

Глава 1. Мусорный пакет	4
Глава 2. Здесь все сумасшедшие	22
Глава 3. Малый элементарь	42
Глава 4. Инспектор	62
Глава 5. Список	80
Глава 6. Хлеб с тмином	102
Глава 7. Контур	128
Глава 8. Ночная проверка	150
Г	173
Конец ознакомительного фрагмента.	174

Василиса Яровая

Пекарня для дракона

Глава 1. Мусорный пакет

Тесто не врёт.

Это первое, чему меня научила мама, и единственное, в чём я была уверена в свои двадцать пять лет. Люди врут, начальство врёт, прогноз погоды врёт, весы в «Пятёрочке» на Белинке врут на сорок граммов в пользу магазина. А тесто — нет. Если ты его недомесила, оно скажет. Если перекормила дрожжами, скажет. Если ты злая, оно тоже скажет: ляжет на стол серой обиженной лепёшкой и будет лежать так до утра, пока ты не попросишь прощения.

Я как раз просила прощения у восьмой партии багетов, когда пришло письмо.

Было без двадцати четыре утра. Ночная смена в пекарском цехе супермаркета «Семейный», улица Ванеева, — четыре конвекционные печи, два тестомеса, один холодильник для расстойки, в котором вечно что-то гудело, и я. Ещё был Толик, грузчик, но Толик к четырём обычно засыпал на мешках с мукой, и будить его было себе дороже: он просыпался и начинал рассказывать про рыбалку.

Я вынула из печи противень с круассанами, поставила на

стеллаж, сунула туда следующий, выставила таймер. Потом вытерла руки о фартук и открыла дверь служебного входа — проветрить. Конец ноября, Нижний Новгород, минус девять и мокрый снег, который не знает, падать ему или лететь вбок. Из двери пахло морозом и мусорными баками.

Письмо лежало на пороге.

Я сначала подумала, что это накладная. Их иногда суют под дверь водители, которым лень заходить. Но накладные не бывают в конвертах из толстой желтоватой бумаги, запечатанных сургучом. Настоящим сургучом, тёмно-красным, с оттиском. Я такое видела только в кино про мушкетёров.

На конверте было написано — чернилами, перьевой ручкой, с наклоном и завитушками:

«Сударыне Лидии Ферн, наследнице. Лично в руки».

Я посмотрела по сторонам. Задний двор «Семейного» был пуст. Два мусорных бака, сугроб, фонарь, который мигал с сентября, и чья-то кошка на крышке бака. Кошка смотрела на меня с выражением «ну, открывай уже».

Я открыла.

«Сударыня.

С прискорбием и одновременно с радостью сообщаю вам, что очаг рода Ферн пробудился. В связи с этим вы, как единственная живая наследница по прямой линии, приглашаетесь вступить в права владения пекарней, расположенной по адресу: град Лавье, улица Трёх Лун, дом четыре.

Наследство переходит к вам после Розы Ферн, скончав-

шейся двадцать лет назад. Права наследования были приостановлены до пробуждения очага. Очаг пробудился сего числа.

Дверь откроется, когда вы будете готовы. Возьмите необходимое.

С уважением, нотариус Д. Вель».

И печать. Круглая, с тремя кружочками внутри. Один кружок закрашен серебряной краской, второй — золотой, третий — чёрной.

Я прочитала письмо два раза. Потом посмотрела на кошку.

— Это шутка, да? — спросила я у кошки.

Кошка зевнула и ушла.

Я сложила письмо, сунула в карман фартука и вернулась к круассанам. Таймер пищал. Круассаны пригорали. У меня было ещё двести сорок булочек с маком, сто двадцать батончиков «Нарезной» и сорок тортов «Наполеон» к открытию, и думать о сумасшедших письмах было некогда.

Но думала я о нём до конца смены.

* * *

Ферн — это моя фамилия.

Над ней смеялись в школе. «Папоротник», говорили одноклассники, потому что кто-то вычитал, что «fern» по-английски — папоротник. Я была рыжая, круглая, в веснушках, с фамилией-папоротником, — не жизнь, а сплошной повод для шуток. Мама говорила, что фамилия прибалтийская.

Что наши предки были немцы из-под Риги. Что больше она ничего не знает, потому что её родители умерли рано.

Мама вообще мало что рассказывала про прошлое.

Мы жили вдвоём, в однушке на Автозаводе, сколько я себя помню. Нет, не так. Сколько я себя помню — с пяти лет. До пяти я не помню ничего. Совсем. Психолог в школе, к которому меня отправили после того, как я в первом классе разревелась на уроке труда, когда учительница зажгла свечку, — сказал, что это нормально. Что у многих детей ранние воспоминания стираются.

У меня стёрлось всё, кроме одного. Запаха.

Хлеб с тмином. Тёплый, только что из печи, с хрустящей корочкой, на которой тмин чуть подгорел и пах так, что хотелось плакать. И ещё — голос. Хриловатый, ворчливый, откуда-то снизу, из темноты: «Ну? Ещё одну? Ладно, держи. Только бабке не говори».

Я спрашивала маму. Мама бледнела и говорила, что мне приснилось.

Мама умерла два года назад. Рак, быстро — от диагноза до похорон три месяца. Я держала её за руку в больнице на Родионова, и в последний вечер, когда она уже почти не узнавала меня, она вдруг открыла глаза и сказала очень ясно:

— Лида. Если позовут — не ходи. Там огонь.

И больше ничего не сказала.

Я тогда решила, что это бред. Морфий. Врач так и сказал: «Не обращайтесь внимания, это от препаратов».

Я не обращала внимания два года.

* * *

Живого огня я боюсь. Это смешно, я знаю. Пекарь, который боится огня. Но я не могу. Свечки на торте — я их задуваю раньше, чем зажгут все. Газовая плита — я её в съёмной квартире заклеила скотчем и купила электроплитку. Костёр на даче у подруги — я ушла в дом и сидела там, пока не погасили. Мангал. Камин в ресторане. Зажигалка в руках у Толика, когда он закуривает у служебного входа, — я отворачиваюсь.

Поэтому — электрические печи. Конвекционные, ротационные, подовые с ТЭНами. Я знаю их все. Я могу на слух определить, какой ТЭН сейчас сгорит. Я пеку восемь лет — с семнадцати, с колледжа, — и ни разу в жизни не пекла в печи с настоящим огнём.

Мечта у меня была одна. Своя пекарня. Маленькая. На первом этаже старого дома, где-нибудь на Рождественской или на Покровке, с витриной, с колокольчиком над дверью, с запахом хлеба на всю улицу. Я бы пекла хлеб с тмином. Тот самый. Я восемь лет пыталась его повторить, и восемь лет у меня не получалось. Чего-то не хватало. Я не знала чего.

На пекарню я копила. Четыре года. Почти собрала. А потом мама заболела, и все деньги ушли на клинику в Москве, на лекарства, которых не было в аптеках, на сиделку, на похороны.

После похорон у меня осталось двенадцать тысяч рублей,

съёмная однушка и ночные смены в «Семейном».

А вчера мне позвонила Ленка. Ленка — это моя однокурсница, которая уехала в Москву пять лет назад и теперь работает су-шефом в сети кофеен «Буше-Беше». Она сказала, что у них открывается новая точка на Патриарших, что им нужен пекарь, что зарплата — в три раза больше, чем у меня, и что если я соглашусь, мне надо быть в Москве послезавтра. С вещами.

Я сказала: «Я подумаю».

Ленка сказала: «Лидка, ты двадцать пять лет думаешь. Ты так и будешь до пенсии печь «Нарезной» на Ванеева?»

Я сказала: «Я подумаю», — и положила трубку.

А потом пришло письмо.

* * *

Смена закончилась в восемь. Я сдала цех дневному пекарю — тёте Гале, которая всегда приходила на двадцать минут раньше и всегда находила, к чему придраться, — переоделась, вышла на улицу и пошла домой. Пешком. Через мост, через снег, через утренний город, в котором люди торопились на работу, а я — с работы, и от этого всегда было немного стыдно, как будто я шла не в ту сторону.

Дома я сделала себе чай, села на кухне и перечитала письмо ещё раз.

«Град Лавье». Я погуглила. Ничего. Нет такого города. Есть Лавье — фамилия, есть Лавье — какой-то французский винодел, есть деревня Лавье в Швейцарии, население двести

человек. Улицы Трёх Лун там не было.

«Нотариус Д. Вель». Ничего.

«Роза Ферн». Ничего. Вообще ничего, ни в одной соцсети, ни в одном архиве.

«Скончавшейся двадцать лет назад».

Двадцать лет назад мне было пять.

Я сидела на кухне, смотрела на письмо, и у меня в животе было странное, тянущее ощущение. Как будто я стою у края чего-то глубокого. Как будто я сейчас, в эту секунду, вспомню что-то очень важное — и не могу.

«Хлеб с тмином. Ну? Ещё одну? Только бабке не говори». Бабке.

Я никогда не знала своих бабушек. Мама говорила — умерли рано.

«Если позовут — не ходи. Там огонь».

Я положила письмо на стол и пошла спать. Мне надо было поспать хотя бы до двух, а потом решать, ехать в Москву или нет.

Я не спала. Я лежала на диване, смотрела в потолок, где было жёлтое пятно от протечки, похожее на Африку, и думала.

Если это шутка — то очень странная. Кто будет тратить сургуч на шутку? Кто знает про мою фамилию, про то, что мне было пять? Кто знает про огонь?

Если это мошенничество — то тоже странное. Там не было ни номера карты, ни просьбы прислать паспортные дан-

ные, ни ссылки. Только «дверь откроется, когда вы будете готовы».

А если это не шутка и не мошенничество...

Я фыркнула вслух. Лидия Ферн, двадцать пять лет, пекарь ночной смены, наследница пекарни в несуществующем городе. Ага. А ещё у меня в шкафу Нарния, а под кроватью — Хогвартс.

В два часа я встала, приняла душ и начала собирать чемодан. В Москву.

Я решила. Ленка права. Двадцать пять лет думаю. Хватит.

* * *

Чемодан у меня был мамин. Старый, коричневый, на колёсиках, одно из которых заедало. Застёжка не держала уже лет десять, поэтому я перетягивала его ремнём — тоже маминым, кожаным, с медной пряжкой.

Я сложила туда всё, что у меня было. Это оказалось не так много. Джинсы, свитера, бельё, ноутбук с отваливающейся клавишей «Ё». Мамина фотография в рамке. Мой нож — хороший, японский, подарок на выпуск из колледжа, единственная дорогая вещь, которая у меня была. Тетрадь с рецептами — восемь лет записей, клякс, пятен от масла. Скалка. Да, я везу с собой скалку. Каждый пекарь вам скажет: чужой скалкой работать — как в чужих ботинках ходить.

Письмо я положила в карман пальто. Сама не знаю зачем.

Поезд на Москву был в 13:40. «Ласточка». Билет я купила в приложении, пока стояла под душем, — это было един-

ственное импульсивное решение, на которое я была способна, и я его приняла.

Квартиру я сдала хозяйке по телефону. Хозяйка сказала: «Ключи оставь в почтовом ящике, залог вышлю». Я знала, что залог она не вышлет. Она его никогда не высылала. Ну и ладно.

В одиннадцать я была готова. Пальто — коричневое, мамино, слишком большое, но тёплое. Шапка — вязаная, с помпоном, сама вязала, неровно. Чемодан. Сумка через плечо.

И мусор.

Я оглядела кухню. В ведре под раковиной лежали картофельные очистки, чайные пакетики, банка из-под горошка и упаковка от сосисок. Если я уеду и оставлю это хозяйке — она меня найдёт даже в Москве. Я знала эту женщину.

Я вытащила пакет из ведра. Завязала. Взяла в левую руку, чемодан — в правую. Оглядела квартиру в последний раз. Пятно-Африку на потолке. Заклеенную скотчем газовую плиту. Подоконник, на котором мама когда-то, в первый и последний раз, когда приезжала ко мне сюда, поставила горшок с геранью. Герань засохла через месяц, но горшок я не выбрасывала.

Горшок я оставила. Он не влезал в чемодан.

— Ну, — сказала я пустой квартире. — Пока.

Квартира промолчала.

Я вышла на площадку, заперла дверь, бросила ключи в

почтовый ящик. Спустилась по лестнице — лифт в нашем доме работал по праздникам, а праздников в ноябре нет. Чемодан бился о ступеньки, колёсико заедало, пакет с мусором шуршал. Четвёртый этаж. Третий. Второй.

На первом этаже я остановилась у двери подъезда. Обычной железной двери с кодовым замком, которую соседи вечно подпирали кирпичом, чтобы не мёрзнуть, пока курят. Сейчас кирпича не было. Дверь была закрыта.

Мусорные баки стояли слева от подъезда, метрах в двадцати. Я выкину мусор, дойду до остановки, сяду на маршрутку до Московского вокзала. Час десять до поезда. Успею.

Я нажала на кнопку замка. Пискнуло. Я толкнула дверь плечом.

И вышла.

* * *

Снега не было.

Это первое, что я заметила. Минуту назад, в подъезде, я слышала, как снаружи шуршит мокрый снег по козырьку. А тут — снега не было. Был мороз — сухой, звонкий, совсем не нижегородский, щипавший за нос. И был снег — но не падающий, а лежащий, чистый, белый, хрустящий. Как в детской книжке.

Второе, что я заметила: это был не мой двор.

Не было мусорных баков. Не было припаркованных «Жигулей» соседа с третьего этажа, у которых вечно спускало колесо. Не было детской площадки с ржавой горкой. Не было

многоэтажек.

Была улица.

Узкая, мощённая камнем — настоящим, булыжником, как в Старом городе в Таллине, куда мы с мамой один раз ездили. По обе стороны — дома. Невысокие, в два-три этажа, старые, с черепичными крышами, с которых свисали сосульки, с резными наличниками, с вывесками. Чайная — железной полумесяц и чашка. Мастерская — шестерёнка. Ещё что-то — дверь с медной табличкой. Фонари на чугунных столбах — не электрические, я сразу поняла, они светились мягко, жёлто, неровно, будто внутри был не свет, а что-то живое.

И небо. Небо было бледное, морозное, полуденное. А в нём висели луны.

Три.

Я стояла с чемоданом в одной руке и мусорным пакетом в другой и смотрела на три луны. Серебряную. Золотую. И чёрную — тонкий тёмный серп, почти незаметный, как будто кто-то прорезал небо ножом.

— Мама, — сказала я вслух. Тихо.

Не знаю, почему я это сказала. Наверное, потому что больше было некому.

Я обернулась. За спиной у меня должна была быть дверь подъезда.

За спиной у меня была кирпичная стена. Арка, заложенная кирпичом. И на кирпиче — старая выцветшая афиша.

«Цирк братьев Луэн! Не последняя неделя!» Причём слово «Не» было приклеено отдельной бумажной полоской, явно позже и явно от руки.

Я посмотрела на стену. Потом на свой мусорный пакет. Потом снова на стену.

— Нет. Нет-нет-нет-нет-нет.

Стена не ответила.

Я подошла к ней. Потрогала кирпич. Холодный, шершавый, настоящий. Я постучала по нему кулаком. Кирпич ответил глухо, как отвечает кирпич.

— Это не смешно, — сказала я стене. — У меня поезд. «Ласточка». В тринадцать сорок. У меня билет за две тысячи семьсот!

Стена молчала.

Я достала из кармана пальто телефон. Связи не было. Вообще. Ни одной палочки. Ни 4G, ни E, ни даже «Только экстренные вызовы». На экране было 11:47 и надпись «Нет сети», а потом, пока я смотрела, цифры на часах моргнули и превратились в прочерки. Как будто телефон тоже не знал, который здесь час.

Я положила телефон обратно. Руки у меня дрожали. Пакет с мусором шуршал.

И тут я почувствовала запах.

* * *

Хлеб.

Хлеб с тмином.

Тот самый. С хрустящей корочкой, на которой тмин чуть подгорел. Запах, который я восемь лет пыталась повторить в электрических печах «Семейного» и не могла.

Он шёл с другой стороны улицы.

Я повернулась на запах, как поворачивается подсолнух. Не думая. Просто — повернулась.

Напротив меня стояло здание. Двухэтажное, узкое, с высоким крыльцом в три ступеньки. Ставни на окнах — закрыты и заперты на железные засовы. Дверь — дубовая, тяжёлая, с потемневшей медной ручкой и огромным ржавым замком. Над дверью — вывеска. Деревянная, резная, в форме калача. Краска на ней облезла, дерево потрескалось, но калач всё равно был калач: круглый, пухлый, с дыркой посередине и с выпуклым узором, изображающим посыпку.

А над крышей, из высокой кирпичной трубы, шёл дым.

Белый. Густой. Тёплый. Он поднимался столбом в морозное небо и пах хлебом с тмином.

— Это шутка, да? — сказала я. Громко. На всю улицу. Мне было уже всё равно, кто услышит. — Это какая-то шутка? Мне сказали — наследство. Мне сказали — пекарня. Я думала, там хотя бы вывеска нормальная будет!

И тут одна из дверей на улице открылась.

* * *

Это была дверь с медной табличкой. На крыльцо вышла женщина — высокая, прямая, как линейка, в тёмном платье до пола и в очках в тонкой металлической оправе. Волосы

— тёмные, с проседью, уложены в тугой узел. В одной руке — трость. В другой — ключ. Огромный, ржавый, с бородкой величиной с мою ладонь.

Она посмотрела на меня поверх очков. Так смотрела на меня завуч в седьмом классе, когда я разбила окно в кабинете химии.

— Лидия Ферн? — спросила она.

Я вздрогнула.

— Да. А вы кто?

— Дария Вель, нотариус, — женщина спустилась с крыльца, неторопливо, постукивая тростью по булыжнику. — Добро пожаловать на улицу Трёх Лун. Мы вас ждали.

— Ждали? — я посмотрела на неё с подозрением. Женщина, которая пишет письма сургучом, а потом говорит «мы вас ждали», явно не страдала от недостатка драматизма. — Кто ждал? Я вчера ещё не знала, что у меня есть какая-то двоюродная прабабка. Или кто она там. Роза Ферн. Мне пришло письмо. А потом я пошла выносить мусор, открыла дверь подъезда — и вышла сюда. В мусорном пакете, между прочим, — я подняла руку с пакетом, — картофельная кожура. Я её так и несу. Тут вообще есть мусорные баки?

Откуда-то сверху раздался тихий смешок. Я подняла голову. В окне третьего этажа соседнего дома — дома с вывеской, которую я не могла разглядеть, — сидела девчонка лет семнадцати, тёмненькая, острая, в огромной шали, и хихикала, прикрыв рот ладонью.

Над ней, на краю крыши, сидела сорока. Большая, чёрно-белая, с хвостом, в котором явно не хватало перьев. Сорока смотрела на меня одним глазом. С выражением, которое я могла описать только как «ну-ну».

Нотариус Дария Вель не засмеялась. Она вообще, судя по лицу, не умела смеяться. Она сказала:

— Мусорные баки — во дворе за чайной. Но вы, думаю, захотите сначала...

И тут из пекарни раздался голос.

* * *

Голос шёл изнутри. Из-за запертой двери, из-за заколоченных ставен, из глубины, — снизу, как из подвала или из колодца. Хриплый, сердитый, с потрескиванием, как будто кто-то говорил сквозь горящие поленья.

— Ты, — сказал голос.

Я замерла.

— Наконец-то, — продолжил со мной говорить голос. Ворчливо. Обиженно. И вместе с тем так, что у меня что-то сжалось в груди, как будто меня ударили. — Двадцать лет. Двадцать лет, хозяйка. Где тебя носило?

Пакет с мусором выскользнул у меня из пальцев и шлёпнулся на булыжник. Банка из-под горошка выкатилась и звонко покатилась по мостовой.

Я знала этот голос.

«Ну? Ещё одну? Ладно, держи. Только бабке не говори».
— Кто это сказал? — спросила я. Голос у меня был тонкий

и чужой.

Дария Вель посмотрела на пекарню. Потом на меня. Потом протянула мне ключ — огромный, ржавый, тяжёлый.

— Вот это, — сказала она. — Вам придётся выяснить самой.

Я смотрела на ключ. Брать его мне не хотелось. Совсем. Мне хотелось бросить чемодан, развернуться, разбежаться и пробить головой кирпичную стену с афишей цирка, и выбежать обратно в свой двор, к мусорным бакам, к мокрому снегу, к «Ласточке» в 13:40.

«Если позовут — не ходи. Там огонь».

— Можно я не буду? — спросила я.

Дария Вель вздохнула. Очень тихо, почти незаметно.

— Можно. Никто не заставит. Улица отпускает один раз. Если хотите — я открою вам дверь обратно. Прямо сейчас. Вы вернётесь в свой подъезд, выкинете мусор и сядете на поезд, — она помолчала. — Только мне кажется, вы этого не хотите.

— Откуда вы знаете, чего я хочу?

— Я не знаю. Но вы стоите здесь уже четыре минуты. И всё это время вы нюхаете дым.

Я закрыла рот.

Она была права. Я стояла посреди чужой улицы, в чужом городе, под тремя лунами, и нюхала дым. Хлеб с тмином. Корочка. Чуть подгоревший тмин.

— Могу дать совет, — предложила Дария Вель. — При-

ходите сначала в лавку, — она кивнула на дом, на третьем этаже которого сидела хихикающая девчонка. — Дом семь. Там у хозяйки есть кое-что ваше. И кофе. Она хорошо варит.

Я посмотрела на дом семь.

Это была лавка. Старая, с большими окнами в мелкой расстекловке, с крыльцом, у двери которого стояла новенькая деревянная табуретка, светлая, с какой-то резьбой по краю. Над дверью висела вывеска: «Лавка забытых вещей». В окне лавки стояла женщина.

Высокая, худая, тёмноволосая, в сером платье с белым воротничком. С чашкой кофе в руке. Она смотрела на меня через стекло — спокойно, внимательно, оценивающе, так, как смотрят на вещь на аукционе. Я не знаю, откуда я взяла это сравнение. Я ни разу в жизни не была на аукционе.

Женщина подняла руку. Помахала мне.

Я не помахала в ответ.

Я наклонилась, подобрала мусорный пакет. Подумала. Подняла банку из-под горошка, которая докатилась до соседнего крыльца, и сунула обратно в пакет. Взяла чемодан. Взяла у Дарии ключ — он оказался тёплым, как будто его долго держали в руке. Сунула в карман пальто, рядом с письмом.

И решительно зашагала через улицу к лавке.

Не потому, что решила остаться. Нет. Я так себе и сказала, очень твёрдо: «Не потому, что решила остаться». А потому, что мне нужно было где-то выбросить картофельную

кожуру. И выпить кофе. И сесть. И понять, что, чёрт возьми, происходит.

А потом — домой. Обязательно. На «Ласточку».

Над пекарней у меня за спиной валил дым. А из-за запертой двери, из глубины, доносилось ворчание. Довольное, на этот раз. Почти мурлыканье.

Я не обернулась.

Это было очень трудно — не обернуться.

Глава 2. Здесь все сумасшедшие

Внутри лавки пахло пылью, воском, старой бумагой и кофе. Кофе — сильнее всего. Хорошим, крепким, свежесваренным, без всяких сиропов, которые у нас в «Буше-Беше», по словам Ленки, наливали даже в эспрессо.

Колокольчик над дверью звякнул у меня над головой. Я остановилась на пороге — с чемоданом в одной руке, с мусорным пакетом в другой, в шапке с помпоном, — и огляделась.

Полки. До потолка. Сотни полок, и на каждой — вещи. Перчатки, зонтики, очки, книги, часы, игрушки, ложки, пуговицы, шкатулки, подсвечники, вазы, рамки без картин, картины без рамок. На каждой вещи — бирка, маленькая, картонная, с сургучной печатью. Как в музее. Или в бюро находок. Или в музее бюро находок.

Посреди лавки — прилавок. Тёмный, дубовый, отполированный до блеска. На нём — касса, древняя, медная, с ручкой сбоку. Толстая книга в кожаном переплёте. Деревянная шкатулка с перламутровыми лунами на крышке и картонкой «Не продаётся». И длинная деревянная лопата. Пекарская. Я узнала её сразу — я сама работаю такой, только у нас в цехе они пластиковые, с алюминиевой ручкой. А эта была деревянная, старая, с ручкой, отполированной ладонями до тёмного блеска.

За прилавком стояла женщина из окна.

Вблизи она оказалась младше, чем я думала. Лет тридцать с небольшим. Высокая, худая — слишком худая, на мой профессиональный пекарский взгляд, таких надо откармливать сдобой. Тёмные волосы собраны на затылке, без единой выбившейся пряди. Лицо — узкое, бледное, с острыми скулами и серыми глазами, которые смотрели на меня так, будто сейчас наклеят на меня бирку. «Пекарь. Нижегородский. Рыжий. Состояние — удовлетворительное».

— Здравствуйте, — сказала я. — Скажите мне честно. Здесь все сумасшедшие?

Женщина поставила пекарскую лопату на прилавок, рядом со шкатулкой.

— Проходите. Садитесь. Табуретка крепкая, проверено. Сейчас будет кофе, — она улыбнулась. Улыбка у неё оказалась неожиданная, совсем не подходящая к лицу: тёплая и немного кривая. — И да. Здесь все сумасшедшие. Вы привыкнете.

— Это временно, — слышался голос откуда-то сверху. — Сначала все так говорят.

Я подняла голову. На лестнице, которая вела на второй этаж, сидела та самая девчонка из окна. В огромной шали. Подперев щеку кулаком.

— Мира, чайник, — сказала женщина, не оборачиваясь.

— Уже, — ответила девчонка и не сдвинулась с места.

— Мира.

— Ну иду, иду, — девчонка поднялась, но перед тем как уйти, перегнулась через перила и громким шёпотом сообщила мне: — Она тоже с мусорным пакетом пришла. Ну, не с мусорным. С чемоданом. Но тоже злая была. Вы не бойтесь.

И исчезла наверху.

Я посмотрела на женщину за прилавком.

— Я не злая.

— Конечно, — согласилась она.

— Я просто не понимаю, что происходит.

— Это нормально.

— У меня поезд!

— Понимаю, — она вышла из-за прилавка, взяла у меня из руки мусорный пакет — я даже не успела возразить — и куда-то его унесла. Вернулась через минуту, уже без пакета, вытирая руки полотенцем. — Мусор — во дворе. Я выкинула. Теперь садитесь.

Я села. Табуретка, на которую она показала, стояла у прилавка — не та, что на крыльце, другая, старая, тёмная, но действительно крепкая. Чемодан я поставила рядом. Шапку не сняла. Мне казалось, что если я сниму шапку, это будет означать, что я осталась.

Женщина сварила кофе. Я смотрела, как она это делает, — профессиональная привычка, я всегда смотрю, как люди готовят. Медная турка на каком-то камне, который грел без огня, — я заметила это сразу и почему-то сразу успокоилась: без огня. Хорошо. Молотый кофе — две ложки с горкой.

Вода. Сахар — в чашку, а не в турку. Сняла дважды, когда пена поднялась. Четыре минуты.

Она поставила передо мной чашку.

Кофе был идеальный. Я чуть не заплакала. Не от кофе — от всего сразу. Просто кофе стал последней каплей.

— Меня зовут Вера, — представилась женщина. — Вера Соколова. Я хозяйка этой лавки.

— Лидия, — сказала я в чашку. — Ферн. Но вы, наверное, уже знаете.

— Знаю, — Вера села напротив, за прилавок. — Дария мне сказала, что вы придёте. Вчера. Когда пошёл дым.

— Вчера? — я подняла голову. — Письмо пришло сегодня ночью.

— Здесь время идёт немного иначе. Не сильно. Но иначе. Привыкнете.

— Вы все время говорите «привыкнете».

— Потому что это правда, — она помолчала. — Я сама здесь третий месяц. Тоже пришла из... оттуда.

Я поставила чашку.

— Оттуда? В смысле — из России?

— Из Петербурга.

— Из Питера?! — я подалась вперёд. — Серьёзно? Вы тоже — через подъезд?

— Через дверь гостиницы. Здесь, на углу. Мне тоже пришло письмо. От Дарии. Я тоже думала, что это шутка, — она чуть повела плечом. — Я тоже стояла посреди улицы и тре-

бывала объяснений у кирпичной стены.

— И что стена?

— Стена молчала.

— Мне тоже. Хамская стена.

Вера засмеялась. Коротко, как будто сама удивилась.

* * *

Сорока прилетела, когда я допивала кофе.

Она влетела через открытое окно второго этажа, спланировала вниз над перилами, сделала круг над прилавком и приземлилась прямо передо мной. На прилавок. Рядом с моей чашкой. Большая — больше, чем я думала, когда видела её на крыше. Чёрно-белая, с синим отливом на крыльях, с хвостом, в котором явно не хватало двух длинных перьев. Глаза — чёрные, блестящие, умные. Очень умные.

Сорока посмотрела на меня. Внимательно. Сверху вниз и снизу вверх.

— Рыжая, — заключила сорока.

Я подскочила на табуретке. Чашка звякнула о блюдце.

— Она... она говорит?

— Она говорит, — ответила Вера спокойно. — Это Гортензия. Старший оценщик лавки.

— Совладелица, — поправила сорока, не сводя с меня глаз. — В доле одной сотой. Стропила.

— Совладелица, — согласилась Вера.

Гортензия наклонила голову. Её взгляд остановился на моей шапке. На помпоне.

— Это что? — спросила она.

— Помпон, — ответила я. Голос у меня был слабый.

— Блестящий?

— Нет. Шерстяной.

— Жаль, — сказала Гортензия и отвернулась. Потом повернулась обратно. — У тебя на пальто пуговицы. Медные. Третья сверху болтается.

Я машинально потрогала пуговицы на мамином пальто. Третья сверху действительно болталась. Я собиралась пришить её месяц назад.

— Отдашь? — спросила Гортензия.

— Гортензия, — одёрнула её Вера.

— Я просто спросила. Она всё равно отвалится. Лучше пусть отвалится ко мне, чем на улице, — сорока переступила с лапы на лапу. — Это забота. Я забочусь.

Я смотрела на сороку. Сорока смотрела на меня.

— Здесь все сумасшедшие, — сказала я тихо.

— Я же говорила.

* * *

Мира принесла чай. И булочки. Булочки были Мартины — так сказала Мира, — с изюмом, ещё тёплые. Я откусила одну, профессионально, и сразу поняла: тесто — сдобное, на сливочном масле, яиц три на килограмм, сахара многовато, изюм не замочили, поэтому он жёсткий, а вот корочка — идеальная. Кто-то здесь умел печь. Просто изюм не замачивал.

— Изюм надо замачивать, — посоветовала я, жуя. — В тёплой воде. Минут на двадцать. Тогда он мягкий.

Мира посмотрела на меня с ужасом.

— Вы это Марте скажите. Я посмотрю.

— А кто такая Марта?

— Марта — это... — Мира задумалась. — Марта — это Марта. Чайная. Через два дома. Она всё знает. Она вас уже знает. Она в окно видела, как вы пакет уронили.

— Она не сплетничает, — сказала Вера. — Она обеспечивает информационный обмен.

— Что?

— Привыкнете, — сказали Вера и Мира хором.

Колокольчик над дверью звякнул. Вошла Дария Вель. С той же тростью, в тех же очках, но теперь ещё и с папкой под мышкой. Кожаной, пухлой, перевязанной тесёмкой.

Она прошла к прилавку, положила папку, сняла перчатки — по одному пальцу, неторопливо, как в кино про аристократов, — и посмотрела на меня.

— Вы ещё здесь.

— Я ещё здесь. Я кофе пью.

— Это хорошо, — Дария развязала тесёмку. — Кофе здесь хороший. А теперь, если позволите, я объясню вам условия наследства. Это не займёт много времени.

Это заняло час.

* * *

Я не буду пересказывать всё. Половину я не поняла, чет-

верть — забыла сразу же, а оставшуюся четверть я поняла только через неделю. Но кое-что я поняла сразу.

Первое. Улица Трёх Лун — это улица в городе Лавье. Город Лавье находится не в Швейцарии и не во Франции. Он находится — Дария сказала это совершенно спокойно, глядя на меня поверх очков, — «по другую сторону». Я спросила: «По другую сторону чего?» Дария сказала: «Всего». Я решила больше не спрашивать.

Второе. На улице тринадцать домов. Пекарня — дом четыре. Принадлежала роду Ферн с самого основания улицы, то есть больше ста лет. Последней хозяйкой была Роза Ферн.

— Кто она мне? — спросила я. — В письме не было сказано. Я думала — какая-нибудь двоюродная прабабка.

Дария посмотрела на меня. Долго. Потом сняла очки и протёрла их платком.

— Бабушка. Роза Ферн — ваша бабушка. Мать вашей матери, Анны Ферн.

Я поставила чашку на блюдце. Очень аккуратно. Чтобы не разбить.

— Мамины родители умерли рано. Мама говорила. Ещё до моего рождения.

— Ваша мама жила на этой улице, — сказала Дария. Голос у неё стал чуть мягче. Совсем чуть-чуть, на самую малость, как будто кто-то ослабил гайку на один оборот. — Здесь родилась. Здесь вышла замуж. Здесь родила вас. Вы прожили здесь до пяти лет, Лидия. В комнате над пекарней. Я помню

вас. Вы были маленькая, рыжая и всё время лезли к печи. Роза вас за это ругала.

Я смотрела на неё.

— Двадцать лет назад в пекарне был пожар, — продолжала Дария. — Очень сильный. Ночью. Роза погибла, пытаюсь его потушить. Ваш отец... ваш отец к тому времени уже год как уехал, и о нём я ничего не знаю. Ваша мать взяла вас на руки и ушла. Через ту же дверь, через которую сегодня пришли вы. Улица отпускает один раз. Она ушла и больше не вернулась.

— Пожар, — повторила я.

«Если позовут — не ходи. Там огонь».

— Она говорила мне, что мне приснилось, — сказала я. Голос у меня сорвался. — Хлеб с тмином. Голос из темноты. Она двадцать лет говорила мне, что мне приснилось. Что я всё выдумала. Я к психологу ходила, понимаете? В школе. Потому что боялась огня и не знала почему. А она знала. Она всё знала.

Никто ничего не сказал.

Мира на лестнице притихла. Вера смотрела на меня — без жалости, без сочувствия на лице, просто смотрела, спокойно и прямо, и почему-то от этого было легче, чем если бы она начала меня утешать. Гортензия на прилавке переступила с лапы на лапу.

— Она тебя спасала, — сказала вдруг сорока. — Твоя мать. Анна. Я помню. Она стояла посреди улицы, в ночной

рубашке, с тобой на руках, и вся пекарня горела, и Роза кричала из подвала: «Уходи! Уходи и не возвращайся!» И она ушла, — Гортензия помолчала. — Она тебя спасала, рыжая. Не ври себе, что нет.

Я закрыла лицо руками.

Я не плакала. Я просто сидела, закрыв лицо руками, на чужой табуретке, в чужой лавке, в чужом мире, и думала о маме. О её руках — сухих, в трещинах, от которых всегда пахло тестом, потому что она тоже пекла, дома, всю жизнь, хотя работала бухгалтером. О том, что она никогда не включала газ. Никогда. Мы жили с электроплиткой, и когда соседи спрашивали, почему, мама говорила: «Газ — это опасно». О том, что каждый год, в одну и ту же ночь в конце ноября, она не спала. Сидела на кухне, пила чай, смотрела в окно. Я думала — бессонница.

Это была годовщина.

— Лидия, — обратилась ко Вера.

Я подняла голову.

— Вы не обязаны решать сейчас, — произнесла она. — Ничего. Ни оставаться, ни уходить. Дария объяснит вам остальное, а потом вы пойдёте и посмотрите на пекарню. Или не пойдёте. Как захотите, — она подвинула ко мне вторую булочку. — Но сначала съешьте. Вы бледная.

— Я рыжая. Рыжие всегда бледные.

— Съешьте всё равно.

Я съела.

Третье, что я поняла из рассказа Дарии: пекарня моя. Без всяких условий.

— Без условий? — переспросила Вера с таким удивлением, что я сразу поняла: у неё условия были. И, видимо, неприятные.

— Без условий, — подтвердила Дария. — Права наследования были приостановлены до пробуждения очага. Налогов за эти двадцать лет начислено не было, поскольку не было действующего заведения. Долгов нет. Дом ваш. Печь ваша. Всё, что внутри, — ваше. — Она перевернула лист. — Однако, если вы захотите возобновить работу пекарни, вам потребуется разрешение Палаты огненного надзора. Печь является огненным объектом третьего класса. И в ней проживает... — Дария замялась. Первый раз за всё время. — Существо.

— Существо, — повторила я.

— Огненное, — уточнила Дария. — Его нужно будет зарегистрировать.

— Как кошку?

— Примерно. Только сложнее.

Я посмотрела на Веру. Вера посмотрела на Гортензию. Гортензия сделала вид, что разглядывает свою лапу.

— Что за существо? — спросила я.

— Это, — сказала Дария, закрывая папку, — вам тоже лучше выяснить самой.

* * *

К пекарне меня провожали всей толпой.

Я не просила. Я сказала: «Я сама». Я даже встала с табуретки и взяла чемодан. Но когда я вышла на крыльцо лавки, оказалось, что за мной идёт Вера (в шали, с чашкой кофе — она так и не поставила её), Мира (без шали, но в огромных валенках не по размеру), Дария (с тростью) и Гортензия (на плече у Веры).

А на крыльце чайной напротив стояла полная пожилая женщина в фартуке, с косой, уложенной вокруг головы короной, и в очках на цепочке. Она смотрела на меня с таким интересом, что я сразу поняла: это и есть Марта. Рядом с ней стоял сухонький пожилой мужчина в жилете, с лупой на лбу, и держал её под руку.

Из мастерской с шестерёнкой на вывеске высунулась кудрявая блондинка с масляным пятном на щеке. Помахала мне гаечным ключом.

— Удачи! — крикнула она. — Если что-нибудь взорвётся — я рядом!

— Почему что-нибудь должно взорваться? — спросила я у Веры.

— Это Элиза. У неё всё взрывается. Это не про вас. Мне не стало легче.

Пекарня стояла напротив. Двухэтажная, узкая. Ставни заперты. Деревянный калач над дверью. Дым из трубы — уже не такой густой, как утром, но всё ещё шёл, тонкий, белый,

пахнувший хлебом.

Я поднялась на крыльцо. Три ступеньки. Вторая скрипнула. Я замерла.

Я знала этот скрип.

Я не помнила ничего до пяти лет. Ничего. Ни лиц, ни комнат, ни игрушек. Но этот скрип — вторая ступенька, левый край, если наступить ближе к перилам, — я знала. Как знаешь собственное имя. Как знаешь, что тесто, если его ткнуть пальцем, должно медленно выправиться.

Я наступила ещё раз. Скрип.

— Всё в порядке? — спросила Вера снизу.

— Да. Ступенька скрипит.

— Можно починить.

— Нет, — сказала я неожиданно для себя. — Не надо.

Ключ вошёл в замок легко. Будто его ждали. Повернулся — со скрежетом, с усилием, но повернулся. Замок упал мне в руку, тяжёлый, ржавый, тёплый.

Я толкнула дверь.

* * *

Внутри было темно. И пыльно. Пыль — везде, толстым серым слоем, на полу, на прилавке, на полках, на подоконниках. Пыль висела в воздухе и медленно плавала в узкой полоске света, которая падала из открытой двери.

Пахло пылью. Мышами. Старым деревом. Холодом.

И хлебом.

Под всем этим — пылью, мышами, холодом — пахло хле-

бом. Тонко, едва уловимо, как пахнет хлебом в доме, где пекли сто лет. Этот запах въедается в стены. Его не выветрить.

Я сделала шаг внутрь.

Прилавок — длинный, деревянный, с мраморной столешницей, треснувшей посередине. Полки за прилавком — пустые, только в углу стоит корзинка, плетёная, в которой когда-то, наверное, лежали булки. Весы — старые, чашечные, с гирьками. Касса — как у Веры, медная, только поменьше. На стене — часы с маятником. Стоят. Стрелки показывают без пяти четыре.

Слева — дверь. Приоткрыта. За ней — темнота и ещё сильнее запах хлеба.

Я пошла к двери.

За спиной кто-то вошёл. Вера — я услышала её шаги. Остановилась у порога. Не стала подходить. Я была ей за это благодарна.

Я толкнула дверь.

Это был цех. Большой — больше, чем в «Семейном», раза в полтора. Длинный дубовый стол посередине, весь в зарубках и старых пятнах. Мешки у стены — давно сгнившие, мука из них высыпалась и превратилась в серую корку на полу. Деревянные кадки для теста. Полки с формами — железными, ржавыми. Окна — заколочены снаружи, свет пробивается сквозь щели в ставнях тонкими золотыми полосками.

А в дальнем конце — печь.

Огромная. Кирпичная. Под самый потолок. Белёная ко-

гда-то, а теперь — серая, закопчённая, с трещинами. С широким устьем, закрытым чугунной заслонкой. С трубой, уходящей в потолок. Со сводом, на котором кто-то когда-то вырезал — я подошла ближе и разглядела — три кружочка. Луны.

От печи шло тепло.

Я остановилась в трёх шагах от неё. Тепло было слабое, едва заметное, как от батареи, которую только что включили. Но оно было. А из щели под заслонкой — тонкой, в палец, — пробивался свет.

Красный. Тусклый. Живой.

Огонь.

Я почувствовала, как у меня холодеют руки. Как в первом классе на уроке труда, когда учительница чиркнула спичкой. Как на даче у подруги, когда разожгли костёр. Как всегда. Сердце забилося — быстро, неровно, где-то в горле. Ноги стали ватными.

«Там огонь».

— Эй, — сказала я. Шёпотом. — Тут... кто-нибудь есть? Свет под заслонкой мигнул.

А потом заслонка поехала в сторону. Сама. Со скрежетом, медленно, как будто кто-то изнутри упёрся в неё лбом и толкал. В открывшееся устье печи ударил свет — красный, оранжевый, золотой, — и оттуда, из глубины, из горящего нутра, на меня посмотрели два глаза.

Круглые. Оранжевые. Как два уголька.

— Ну, — сказал голос. Хриплый. Ворчливый. С потрескиванием. — Наконец-то. Двадцать лет. Ты знаешь, сколько это — двадцать лет в холодной печи? Ты знаешь, какая это скука? Я пересчитал все кирпичи. Тысяча триста сорок два. Потом пересчитал ещё раз. Тысяча триста сорок один. Один, видимо, вывалился. Или я сбился. За двадцать лет можно сбиться, — пауза. — Ну? Чего стоишь? Подойди. Дай на тебя посмотреть. Выросла-то как. Толстая.

— Я не толстая! — возмутилась я раньше, чем успела подумать.

— Пухлая, — согласился голос. — Это хорошо. Хозяйка пекарни должна быть пухлая. Тощей хозяйке никто не верит. Вон та, которая у порога стоит, — тощая. Ей бы я булку не доверил.

— Спасибо, — сказала Вера от порога. Сухо.

Глаза-угольки моргнули. А потом из печи — медленно, неуклюже, переваливаясь — вылезло существо.

Размером с кота. Может, чуть больше. Похожее на ящерицу — длинное тело, длинный хвост, четыре коротких лапы с когтями. Только не зелёное, не серое, как у нормальной ящерицы, а — угольное. Чёрное, в трещинах, а из трещин, изнутри, светится красным и оранжевым, будто под тёмной коркой у него вместо крови горит огонь. На спине — два бугорка, маленьких, кривых, как обрубки. На голове — что-то вроде гребня, тоже чёрного, тоже светящегося по краям. Морда — короткая, тупая, с ноздрями, из которых тонкими

струйками поднимался дым.

Существо село на краю печного устья. Обвило хвост вокруг лап. И уставилось на меня.

Оно горело.

Не всё — изнутри. Но от него шёл жар. Я чувствовала его лицом, через три шага, через пыльный воздух, — жар, как от раскрытой духовки. И свет. Красный, живой, пульсирующий, в такт дыханию.

Огонь. Живой огонь. С глазами.

— Ну? — тем временем, произнесло существо. — Не узнаёшь? Это я. Уголёк. Ты меня так назвала. Тебе было три. Ты сказала: «Уголёк», — и попыталась меня погладить. Обо-жглась, конечно. Ревела. Бабка Роза меня потом три дня не кормила, за то, что я не отполз. А я не успел, ты быстрая была. — Пауза. — Ты чего белая такая?

Я не ответила.

Я не могла ответить. У меня в ушах шумело. Перед глазами плясали красные пятна. Я видела огонь — и больше ничего. Огонь, огонь, огонь, живой, красный, и он смотрел на меня, и он говорил, и он был в трёх шагах, и пахло дымом, и где-то далеко, на краю памяти, кто-то кричал: «Уходи! Уходи и не возвращайся!»

Я развернулась и побежала.

Через цех. Через лавку с пыльным прилавком. Мимо Веры, которая отшатнулась от двери. На крыльцо, со скрипучей второй ступенькой. На улицу. На булыжник, на снег, под

три луны.

— ТАМ ОГОНЬ! — заорала я. На всю улицу. — ТАМ ЖИВОЙ ОГОНЬ! ОН РАЗГОВАРИВАЕТ!

Марта на крыльце чайной поправила очки.

Элиза в дверях мастерской опустила гаечный ключ.

Мира в валенках прикрыла рот ладонью.

Дария Вель вздохнула.

А из открытой двери пекарни донеслось — обиженно, на всю улицу, с потрескиванием:

— Я не «огонь»! Я дракон! Сколько раз повторять! Двадцать лет прошло, а она опять! ДРАКОН!

Вера вышла из пекарни следом за мной. Спокойно, не торопясь. Остановилась рядом. Протянула мне чашку с остатками кофе.

— Выпейте.

Я выпила. Кофе был холодный. Руки у меня тряслись так, что я облила себе пальто.

— Он правда дракон? — спросила я шёпотом.

— Не знаю, — честно призналась Вера. — Я здесь третий месяц. Драконов ещё не видела. Мне говорили, что один заходил к Марте за чаем, но это было давно, — она помолчала. — Мне кажется, он больше похож на ящерицу.

— Я ВСЁ СЛЫШУ! — донеслось из пекарни.

— Но очень гордую ящерицу, — добавила Вера невозмутимо.

Я смотрела на пекарню. На открытую дверь. На деревян-

ный калач над ней. На дым из трубы.

Чемодан мой стоял на крыльце лавки, где я его бросила. Помпон на шапке съехал набок. Пальто было облито кофе. Поезд «Ласточка» уходил через час с небольшим — с вокзала в другом мире.

— Я здесь ночевать не буду.

— Хорошо.

— Там огонь.

— Понимаю.

— Я боюсь огня. Я с детства боюсь огня. Теперь я знаю почему. Мне нельзя жить в пекарне, где в печи сидит живой огонь и называет меня толстой.

— Пухлой, — поправили из пекарни.

— Пухлой! — рявкнула я, не оборачиваясь.

Вера кивнула.

— Тогда переночуйте у меня. Одну ночь. В лавке есть свободная комната. А утром решите.

Я посмотрела на неё. Она стояла рядом — высокая, тонкая, спокойная, с пустой чашкой в руке и сорокой на плече, — и не уговаривала. Не утешала. Просто предлагала. Как предлагают зонтик под дождём: возьмёшь — хорошо, не возьмёшь — твоё дело.

— Одну ночь, — уступила я.

— Одну ночь, — согласилась Вера.

— Это временно.

С лестницы лавки, из открытой двери, донёсся сдавлен-

ный смешок Миры. Марта на крыльце чайной сняла очки и протёрла их фартуком — очень медленно, очень тщательно. Тобиас рядом с ней спрятал улыбку в усы. Элиза в мастерской громко закашлялась.

А сорока на плече у Веры повернула ко мне голову и сказала — тихо, почти сочувственно:

— Все так говорят, рыжая. Все.

Глава 3. Малый элементаль

Когда мне плохо, я пеку.

Не «готовлю», не «стряпаю», не «что-нибудь соображу на скорую руку». Пеку. Замешиваю тесто, руками, долго, пока оно не станет гладким и живым, пока не начнёт отлипать от ладоней, пока я не почувствую под пальцами, что оно дышит. Это лучше любого психолога. Психолог в школе брал с мамы восемьсот рублей за сеанс и говорил, что мне надо «проговаривать свои страхи». Тесто ничего не берёт и ничего не говорит. Оно просто слушает.

В три часа ночи я стояла на кухне Веры Соколовой, в чужой ночной рубашке до пят — Вериной, длинной, как у привидения, — и месила.

Мука нашлась в шкафу. Немного, на доньшке мешка, но хорошая, мелкая, белая. Дрожжи — нет, дрожжей не было, зато в глиняном горшке на подоконнике стояла закваска, старая, пахнувшая кислым яблоком. Я её понюхала, ткнула пальцем, — живая. Кто-то её кормил. Яйца — три штуки, в корзинке. Масло — кусок, завёрнутый в бумагу, в холодном ящике под окном. Соль. Сахар.

Плиты не было. Был камень. Плоский, тёмный, вделанный в чугунную подставку, и если по нему стукнуть дважды — Мира показала мне вечером, — он начинал греться. Без огня. Без газа. Без ТЭНа. Просто греться, ровно, как скowo-

родка на электрической конфорке.

Я стукнула по нему, наверное, раз двадцать за вечер. Просто так. Чтобы убедиться.

Без огня. Тут можно было печь без огня.

Это было первое хорошее, что я узнала про этот мир.

Тесто подходило в миске под полотенцем. Я сидела за столом, подперев голову рукой, и смотрела на миску, и думала. О маме. О бабушке, которой я не помнила. О ящерице в печи, которая называла себя драконом и помнила, как я в три года пыталась её погладить.

О пожаре.

— Не спится?

Я вздрогнула. В дверях кухни стояла Вера. В халате, с лампой в руке, со строгим лицом — и со следом от подушки на щеке, отчего строгость немного проигрывала.

— Я вас разбудила? Простите. Я тихо старалась.

— Вы не разбудили, — Вера поставила лампу на стол. — Меня разбудил запах. Это закваска?

— Ваша. Я её покормила. Вы её давно не кормили, она голодная была.

— Это не моя. Это Агатиная. Моей двоюродной бабушки. Она стояла на окне, когда я пришла. Я её кормлю раз в неделю. Мне Марта сказала, что надо. Я не знаю, что с ней делать.

— Печь. С ней надо печь. Закваска для того и живёт.

Вера посмотрела на миску. Потом на меня.

— Вы испечёте?

— Уже. Через час будет плетёнка. Только у вас яйца кончились. И масло почти. Вы что, ничего не едите?

Вера помолчала.

— Ем. Иногда.

— Иногда, — повторила я.

Я встала. Открыла холодный ящик под окном. Кусок сыра, засохший по краям. Полбанки чего-то, похожего на варенье, с косточками. Три морковки. Всё.

— Вы ужинали? — спросила я.

— Я... — Вера открыла рот. Закрыла. — Я пила кофе.

— Кофе — это не ужин.

— Кофе с сахаром.

— Это всё равно не ужин! — я захлопнула ящик. — Вы худая как жердь. Я как вас увидела, сразу подумала — её надо откармливать. Вас кто-нибудь кормит?

Вера посмотрела на меня с выражением, которое я не смогла разгадать. Потом сказала:

— Марта. Иногда Адриан. Иногда Мира. Она варит кашу. Пригоревшую.

— Кто такой Адриан?

— Мой... — Вера запнулась. — Дознаватель.

— Ваш дознаватель, — повторила я. — У вас есть личный дознаватель?

— Он не личный. Он... — Вера вдруг порозовела. Совсем чуть-чуть, на скулах. — Это сложно.

— Ага. Понятно. Значит, сложно. Садитесь.

— Что?

— Садитесь. Я вам сейчас морковку с сыром потушу. Это быстро. А потом плетёнка. Нельзя ложиться спать на пустой желудок, особенно когда в три ночи тебя будят запахом закваски. Это вредно.

Вера села. Медленно, как будто не была уверена, что её не обманывают. Я тушила морковку на волшебном камне, тёрла засохший сыр и говорила — не помню о чём. О закваске. О том, что изюм надо замачивать. О том, что у неё на кухне нож тупой, как валенок. О тёте Гале из дневной смены, которая приходит на двадцать минут раньше, чтобы найти, к чему придраться.

Вера молчала и ела. А потом, когда я поставила перед ней тарелку второй раз, вдруг сказала:

— Вы всегда так много говорите?

— Когда нервничаю — да, — я села напротив. — А вы всегда так мало?

— Всегда.

— Это плохо.

— Почему?

— Потому что то, что не проговариваешь, — киснет. Как закваска, которую забыли покормить. Сначала ничего, потом пахнет, а потом выливаешь всё в раковину и начинаешь заново.

Вера посмотрела на меня. Долго. Тем самым оценивающим взглядом, как будто сейчас прицепит бирку.

— Вы очень эмоциональная.

— А вы — законсервированная, — парировала я. — Как огурец в банке.

Мы смотрели друг на друга через стол.

— Огурец, — повторила Вера.

— Солёный, — уточнила я. — Хрустящий. Но в банке.

Вера фыркнула. Потом — я не поверила — засмеялась. Тихо, в ладонь, как смеются люди, которые давно не смеялись и разучились делать это громко.

— Мне ещё никто не говорил, что я огурец.

— А мне никто не говорил, что я толстая, — ответила я.

— До сегодняшнего дня. Ящерица.

— Дракон, — поправила Вера.

— Он не дракон!

— Он сказал, что дракон.

— Мало ли что он сказал! — я встала, проверила тесто. Оно поднялось, круглое, пышное, пахнущее кислым яблоком. — Знаете, кто ещё говорит, что он дракон? Толик. Грузчик. Каждый раз, когда выпьет. «Я, — говорит, — дракон, Лидка. Во мне огонь».

— И?

— И ничего. Огонь у него — исключительно изжога.

* * *

Плетёнка получилась.

Не идеальная — камень грел неровно, с одного бока сильнее, и один конец косы зарумянился больше, чем другой. Но

получилась. Пышная, с блестящей корочкой — я смазала её последним яйцом, — с мякишем, который тянулся, как вата.

Вера отломил кусок. Пожевала. Закрыла глаза.

— Это, — сказала она. — Лучший хлеб, который я ела в своей жизни.

— Вы просто голодная.

— Нет, — Вера открыла глаза. — Я оценщик, Лидия. Я одиннадцать лет говорю людям, сколько стоят их вещи. Я не умею врать про качество. Профессиональная деформация, — она отломил ещё кусок. — Это очень хороший хлеб.

Я покраснела. Я всегда краснею, когда меня хвалят. Рыжие краснеют сразу и целиком, до ушей, это проклятие.

— В нём чего-то не хватает, — сказала я, чтобы скрыть смущение. — Я всегда так пеку, восемь лет, и всё время чего-то не хватает. Я не знаю чего.

— Огня, — сказали с подоконника.

Мы обе подскочили.

На подоконнике, в открытой форточке, сидела Гортензия. Взъерошенная, сонная, с одним прищуренным глазом.

— Вы чего не спите? — спросила она. — Три часа ночи. Сороки в это время спят. Даже старшие оценщики. А тут пахнет, и пахнет, и пахнет. Я проснулась. Мне снилась Роза, — она перепрыгнула с подоконника на стол, прямо к плетёнке. Посмотрела на неё. — Ей не хватает огня, рыжая. Этот камень — он греет. Но он не горит. Хлеб с тмином, который ты помнишь, печётся в живой печи. С живым огнём. Иначе

— не то.

Я молчала.

— Можно? — спросила Гортензия, глядя на корочку.

— Можно.

Она отщипнула кусочек корочки — аккуратно, клювом — и съела. Закрыла глаза. Помолчала.

— Почти. Почти как у Розы. Но не то.

И улетела обратно в форточку.

* * *

Утром пришла Марта.

Я ещё спала — в маленькой комнате на втором этаже, под потолком, где пахло лавандой и старыми книгами, на узкой кровати с латунными шишечками, — когда снизу раздался голос. Громкий, бодрый, такой, какой бывает у людей, которые встают в пять утра и считают это нормальным.

— ...и булочки, и чай с чабрецом, и сыр, и я варенье принесла, вишнёвое, — без косточек, Вера, без косточек, не то что эта Лефевр! — а где она? Спит? Ну и пусть спит, бедняжка, — я её в окно видела вчера, белая была как мука, — ох, а это что? Это кто пёк? Это она пекла? Ночью? Ох ты ж господи... Тобиас! Тобиас, иди сюда, понюхай!

Я натянула свитер прямо поверх Вериной ночной рубашки и спустилась.

На кухне стояла полная пожилая женщина. Коса короной, очки на цепочке, фартук в мелкий цветочек. Рядом — тот самый сухонький старичок с лупой на лбу. Оба держали по

куску моей плетёнки и жевали с одинаковым выражением на лицах — как будто им показали чудо.

— Здравствуйте, — поздоровалась я.

Женщина обернулась.

Она посмотрела на меня — на мои рыжие волосы, торчащие во все стороны, на свитер поверх ночной рубашки, на босые ноги, — и вдруг глаза у неё стали мокрые. Сразу, как будто кто-то повернул кран.

— Лидочка, — всхлипнула она. — Господи. Лидочка. Вылитая Роза. В молодости. Ну вылитая.

И обняла меня.

Я стояла в её объятиях — тёплых, мягких, пахнущих корицей и чабрецом, — и не знала, что делать с руками. Я не люблю, когда меня обнимают незнакомые люди. Но эта женщина не была незнакомой. Я не помнила её. Но тело помнило. Тело расслабилось само, как тесто, когда его оставляют в покое, и я вдруг уткнулась ей в плечо, как маленькая.

— Ты ко мне каждый день прибегала, — говорила Марта мне в макушку. — Каждый день. За пряником. Ты говорила: «Тётя Марта, дай пряник, а то бабушка не даёт». А Роза давала! Роза тебе всё давала! Ты просто хотела два пряника. Хитрая была. Ох, какая хитрая.

— Марта, — сказала Вера. — Дай ей сесть.

— Да, да. Садись, Лидочка. Садись. Ешь. Ты голодная. Вы обе голодные. Вера, ты опять не ужинала? Она опять не ужинала! Она никогда не ужинает!

— Я ужинала, — сказала Вера. — Лидия меня накормила. Марта посмотрела на меня. Потом на Веру. Потом снова на меня.

— Накормила? — переспросила она. — Веру? Вечером? Сама?

— Морковкой с сыром, — ответила я.

Марта медленно сняла очки. Протёрла их фартуком. Надела.

— Ну всё, — объявила она торжественно. — Остаётся.

* * *

За завтраком Марта рассказывала.

Я не просила. Марта, как я поняла довольно быстро, в просьбах не нуждалась. Информация из неё лилась, как тесто из перевёрнутой кастрюли: густо, щедро и во все стороны.

Роза Ферн была пекарем. Лучшим на улице — нет, во всём городе, — Марта настаивала, что во всём городе. Её хлеб с тмином покупали даже в королевском дворце, «через подставных лиц, потому что королевский пекарь обижался». Роза была маленькая, рыжая, круглая — «вот как ты», — с громким голосом и тяжёлой рукой. Ругалась так, что слышно было на другом конце улицы. Добрая была — до слёз. Кормила всех. Бездомных, сирот, бродячих собак. Однажды накормила городского стражника, который пришёл её штрафовать за то, что очередь мешает проезду. Стражник ушёл, так и не выписав штрафа, с тремя батонами под мышкой и

с крошками на усах.

— А мама? — спросила я.

Марта погрустнела.

— Аннушка была другая. Тихая. Строгая. Считала хорошо. Роза её всё к печи тянула, а Аннушка не хотела. Говорила: «Мама, я не хочу всю жизнь в муке». Хотела учиться. На счетовода, — Марта вздохнула. — Ну и выучилась бы. Если бы не...

Она замолчала.

— Если бы не пожар, — сказала я.

Марта кивнула.

— Расскажите, — попросила я. — Пожалуйста. Мне никто никогда не рассказывал.

Марта посмотрела на Веру. Вера чуть заметно кивнула.

— Ночью было, — сказала Марта. Голос у неё стал тихий, совсем не такой, как раньше. — Поздней осенью. Как сейчас. Я проснулась от того, что светло. Думаю — утро, что ли? А это не утро. Это пекарня горит. Выскочила на улицу в одной рубашке. Тобиас, ты не помнишь, тебя тогда ещё тут не было... Ну вот. Выскочила. Пламя — из окон, из двери, из трубы. До неба. И знаешь, что странно? — она посмотрела на меня. — Синее.

— Синее?

— Синее, — повторила Марта. — Пламя было синее. Как газ. Как... не знаю, как что. Я сорок лет живу рядом с пекарней. Я видела, как Роза печь растапливает, тысячу раз.

У неё огонь был всегда — рыжий, тёплый, как она сама. А тут — синий. Холодный. Злой, — Марта помолчала. — Я потом всю жизнь думала: что это было? Никто не знал. Палата приходила, дознаватели приходили. Сказали — неосторожное обращение с огненным объектом. Записали и ушли. А я думаю — не бывает у Розы неосторожного обращения. Не бывает. Она с этой печью сорок лет жила.

Я сидела неподвижно. Внутри у меня что-то сжималось и разжималось, как кулак.

— Аннушка выбежала, — продолжала Марта. — С тобой на руках. В ночной рубашке, босая. А Роза — внизу. В подвале. Кричала. Я слышала. «Уходи, — кричала, — уходи и не возвращайся! Уноси её!» Аннушка стояла посреди улицы, и ты плакала, и тянула руки к пекарне. А потом... — Марта сглотнула. — А потом из пекарни, из двери, выкатился уголёк. Маленький, красный, светящийся. Подкатился к Аннушке, к ногам, и сказал: «Уходи. Я её держу. Я огонь держу. Уходи, пока могу». И Аннушка ушла.

— Уголёк, — сказала я.

— Он держал огонь, — кивнула Марта. — Изнутри. Не давал ему перекинуться на соседние дома. Всю ночь. Мы воду носили, вся улица, — а огонь не перекидывался. Ни на чайную, ни на мастерскую Элиаса, ни на гостиницу. Только пекарня горела. И к утру — погасла. Сама. — Марта вытерла глаза уголком фартука, — Розу нашли в подвале. Внизу, у самого основания печи. Она лежала на полу, а руки у неё

были вот так, — Марта сложила ладони чашечкой, — как будто она что-то держала. Что-то маленькое.

— Уголька, — сказала Вера тихо.

— Уголька, — кивнула Марта. — Она его спасала. А он — нас всех. А потом он заснул. Двадцать лет спал. Никто не мог его разбудить. Пекарню заперли. Дария ключ забрала. И вот... — Марта развела руками. — Вчера пошёл дым.

Я долго молчала.

Потом встала.

— Мне нужно туда.

* * *

Днём пекарня выглядела не так страшно. Ставни я открыть не смогла — их заколотили снаружи, давно, гвозди проржавели, — но через щели пробивался свет, и пыль в этом свете плавала золотыми искрами, и было почти красиво.

Я остановилась на пороге цеха. Дальше не пошла.

Печь стояла в дальнем конце. Заслонка — закрыта. Из щели под ней — тонкая полоска красного.

— Эй, — позвала я.

Заслонка не шевельнулась. Но полоска света мигнула.

— Уголёк, — окликнула я.

Заслонка поехала в сторону. Медленно. Со скрежетом. Из устья вырвался свет, жар, и на краю печного свода появилась морда — тупая, чёрная, в светящихся трещинах, с глазами-угольками.

Я вцепилась в косяк двери. Ноги стали ватными. Сердце застучало в горле. Но я не побежала.

Я держалась за косяк и не бежала.

— Пришла, — сказал Уголёк. Не ворчливо, на этот раз. Осторожно. — Не убежала.

— Я стою у двери. Дальше не подойду. Не обижайся.

— Я не обижаюсь, — он помолчал. — Я понимаю. Ты огонь видела. Тогда. Ты маленькая была, но видела. Синий. Он тебя напугал. Он всех напугал.

— Марта рассказала. Про бабушку. Про то, как ты держал огонь.

Уголёк опустил голову.

— Плохо держал, — сказал он глухо. — Розу не удержал.

— Ты удержал улицу.

— Улица не просила, — он поскрёб когтем по кирпичу. — Роза просила. Она сказала: «Уголёк, держи». А я не смог. Я маленький был. Я и сейчас маленький. Малый, — он скривился, — как у вас говорят. Малый огненный элементаль. Тьфу, — из ноздрей у него вырвалось облачко дыма. — Я дракон. Я дракон, понимаешь? Просто не вырос. Я в яйце в эту печь попал. Двести лет назад. Тереза Ферн нашла яйцо где-то, принесла, положила в печь — чтобы грелось. Я и вылупился. Прямо в печи. А печь — она меня держит. Не отпускает. И я в ней не расту. Двести лет — размером с кота. Позор.

Я смотрела на него. Странно — чем дольше он говорил,

тем меньше я видела огонь. Я видела... ящерицу. Сердитую, обиженную, одинокую ящерицу, которая двадцать лет просидела в холодной печи и пересчитывала кирпичи.

— Тысяча триста сорок два, — сказала я.

— Что?

— Кирпичей. Ты вчера сказал. Тысяча триста сорок два. Потом тысяча триста сорок один.

— Тысяча триста сорок один, — мрачно подтвердил Уголёк. — Я ночью ещё раз пересчитал. Один выпал. Вон там, справа, у основания. Надо замазать. Иначе будет тяга не та.

Я улыбнулась. Сама не заметила как.

— Ты есть хочешь? — спросила я.

Уголёк поднял голову. Глаза у него вспыхнули — ярко, жадно.

— Хочу. Двадцать лет хочу. Я корочку люблю. Хлебную. С тмином. И корицу. И дерево — берёзовое, сухое, оно сладкое. Дубовое тоже ничего, но горчит, — он помолчал. — Но больше всего — когда пекут. Когда в печи хлеб. Понимаешь? Я от этого живу. Не от дров. Дрова — это так, перекус. Я от хлеба живу. От тепла. От того, что кто-то печёт, и вкладывает в это... — он поискал слово, — себя. Тереза так пекла. Роза так пекла. Я от этого рос. Чуть-чуть, но рос. А двадцать лет никто не пёк — и я заснул.

— А вчера проснулся.

— Вчера проснулся, — согласился он. — Потому что улица проснулась. Что-то случилось. Там, в лавке, у Лорисов.

Дверь закрылась — и всё проснулось. И я проснулся. И позвал тебя.

— Ты позвал?

— Я. Через Дарию. Дария письмо отправила, а позвал я. Огонь зовёт хозяйку. Так всегда было.

Я стояла у двери, держась за косяк.

— Я не умею печь в живой печи. Я никогда не пекла. Я боюсь огня. Я даже спичку зажечь не могу.

Уголёк долго на меня смотрел.

— Роза тоже боялась.

— Что?

— Роза боялась огня. В детстве. Её мать, Клара, однажды обожгла ей руку, когда учила ставить хлеб. Нечаянно. Роза потом год к печи не подходила. А потом подошла, — он помолчал. — Я её научил. Я ей говорил: «Не бойся. Я огонь. Я твой огонь. Я тебя не обожгу». И она поверила.

— Ты обжёг меня. Ты сам сказал. Когда мне было три.

— Ты меня схватила, — обиделся Уголёк. — За хвост. Голыми руками. Это нечестно. Это не я обжёг, это ты обожглась.

— Какая разница!

— Большая! — из ноздрей у него вырвался сноп искр. — Огромная! Это как если бы ты схватила горячий противень, а потом сказала, что противень тебя укусил!

Я открыла рот, чтобы возразить. И закрыла.

Он был прав. Чёрт возьми, он был прав.

* * *

Я попробовала растопить печь в тот же день.

Не сама — с Угольком. Он сказал, что сам растопит, что ему нужны только дрова, сухие, берёзовые. Дрова принёс То-биас — у него в мастерской был запас. Я положила их у входа в цех. Уголёк вылез из печи, — я отступила на три шага, — подполз к дровам, взял одно полено в пасть, как собака берёт палку, и потащил в печь. Потом второе. Потом третье. — Помогла бы, — пропыхтел он с поленом в зубах. — Я помогаю. Морально.

Потом он забрался в печь, свернулся вокруг поленьев — и они вспыхнули.

Сразу, все, с треском, с гулом. Пламя рванулось вверх, в свод, ударилось о кирпич и разлилось по нему — рыжее, золотое, живое. Из устья печи пахнуло жаром, как из открытой двери бани. Стало светло — первый раз за весь день в цехе стало по-настоящему светло, и я увидела всё: и сгнившие мешки, и дубовый стол в зарубках, и железные формы на полках, и паутину в углах, и муку на полу, и свои руки — белые, с побелевшими костяшками, вцепившиеся в косяк.

Огонь.

Огонь, огонь, огонь.

Я не убежала. Я стояла у двери, вцепившись в косяк, и смотрела на огонь, и тряслась. Меня трясло всю — с головы до ног, крупной дрожью, как от холода, хотя в цехе было уже жарко. Зубы стучали. В ушах шумело.

— Ну? — сказал Уголёк из печи. Его почти не было видно — он слился с огнём, только глаза светились, оранжевые, внимательные. — Тесто есть?

У меня было тесто. Я замесила его утром, у Веры, — простое, на Агатиной закваске, с тмином, который Марта принесла из чайной. Оно стояло в миске на дубовом столе, под полотенцем, уже поднявшееся. Круглый каравай. Надо было только переложить его на лопату и посадить в печь.

Стол стоял в пяти шагах от двери. Печь — в десяти.

Я отпустила косяк.

Сделала шаг. Ещё один. Жар ударил в лицо. Я остановилась.

— Не могу, — сказала я. Голос сорвался. — Не могу. Прости. Не могу.

— Можешь.

— Не могу! — я отступила к двери. — Там огонь! Я не могу к нему подойти! У меня руки трясутся! Я уроню!

— Возьми лопату. Бабкину. Длинную.

Лопата Терезы Ферн лежала на столе рядом с тестом. Вера утром отдала её мне. С биркой «Дождалась». Длинная — метра два, наверное, с отполированной ручкой.

— Положи тесто на лопату. А потом — просто протяни. Не надо подходить. Протяни, как можешь. Я сам заберу.

Я стояла и смотрела на лопату.

Потом подошла к столу. Пять шагов. Жар — в спину, в шею, в затылок. Сняла полотенце с миски. Перевернула те-

сто на лопату — руки тряслись, каравай чуть не съехал, но не съехал. Взяла лопату за самый конец ручки — как можно дальше от огня.

И протянула.

Метр. Полтора. Два. Лопата дрожала у меня в руках, и каравай на ней дрожал, и я видела, как его край начинает румяниться от жара, хотя он ещё даже не в печи.

Из огня высунулась лапа. Чёрная, когтистая, светящаяся. Подцепила каравай — аккуратно, нежно, как кошка подцепляет котёнка, — и утянула внутрь.

Я отдёрнула лопату. Отступила к двери. Прислонилась к косяку спиной. Сползла по нему на пол.

И заплакала.

Не знаю почему. Ничего не случилось. Я не обожглась. Каравай был в печи. Огонь гудел. Уголёк что-то мурлыкал внутри — довольно, тепло, как кот на коленях. А я сидела на полу в дверях цеха, обхватив колени, и ревела, как в первом классе на уроке труда.

— Ну вот, — сказал Уголёк из печи. Мягко. — Ну вот. Ну и хорошо. Пореви. Роза тоже ревела. В первый раз. Потом перестала.

Через сорок минут каравай был готов.

Уголёк вытолкнул его лапой на край устья. Я подцепила лопатой — снова издалека, снова трясущимися руками, — и вытащила.

Он был румяный. Пышный. С трещиной по боку — пра-

вильной, красивой, как у хорошего хлеба. Тмин на корочке чуть подгорел.

И пах.

Я поднесла его к лицу. Закрыла глаза.

Хлеб с тмином. Тот самый. С хрустящей корочкой. Чуть подгоревший тмин. Тёплый. Только что из печи.

«Ну? Ещё одну? Ладно, держи. Только бабке не говори».

— Это ты, — сказала я. Не открывая глаз. — Это ты мне говорил. Тогда. «Только бабке не говори». Ты мне корочки подкидывал. Когда она не видела.

— Ну, я, — сказал Уголёк. Смущённо. — А что? Ты просила. Ты всегда просила. Я не мог отказать. Ты хитрая была.

Я засмеялась сквозь слёзы. Отломила корочку — горячую, хрустящую, — и протянула к печи. Издалека, на вытянутой руке.

— Держи. Только бабке не говори.

Из огня высунулась морда. Оранжевые глаза посмотрели на корочку. Потом на меня.

Уголёк взял корочку. Аккуратно, кончиками зубов, так, чтобы не задеть мои пальцы. Хрустнул.

И в этот момент в дверь пекарни постучали.

Не тихо. Не как соседи — Марта стучала дважды, Дария трижды, Мира просто врывалась. Это был другой стук. Чёткий, ровный, размеренный, три удара с одинаковыми промежутками. Казённый стук. Так стучат, когда приходят не в гости.

— Откройте, — сказал за дверью мужской голос. Ровный. Холодный. Без интонаций, как диктор, зачитывающий прогноз погоды. — Палата огненного надзора. Зафиксирована несанкционированная активация огненного объекта третьего класса по адресу: улица Трёх Лун, дом четыре. Прошу немедленно прекратить эксплуатацию и предъявить разрешительные документы.

Уголёк в печи поперхнулся корочкой.

Я сидела на полу, с караваем на коленях, с лицом, мокрым от слёз и чёрным от сажи, в Вериной ночной рубашке под свитером.

— Это кто? — шёпотом спросила я.

— Это, — сказал Уголёк мрачно, с набитым ртом. — Проблемы.

Глава 4. Инспектор

Я открыла дверь с караваем в руках.

Не специально. Просто встала с пола, пошла открывать и забыла его положить. Так и стояла на пороге пекарни — в Вериной ночной рубашке до пят, в свитере поверх, в вязаных носках, с лицом в саже и слезах, с горячим караваем, прижатым к груди, как младенец.

На крыльце стоял мужчина.

Высокий. Очень прямой — так прямо стоят люди, которых в детстве заставляли ходить с книжкой на голове. В длинном сером пальто, застёгнутом на все пуговицы, до самого горла. На левой стороне груди — медный значок: язык пламени в круге. Серые перчатки. Под мышкой — папка, кожаная, плоская, с застёжкой. В правой руке — что-то вроде указки или дирижёрской палочки, только металлической, с прозрачным камнем на конце.

Волосы — тёмно-русые, коротко стриженные, причёсанные так ровно, будто он причёсывался по линейке. Лицо — узкое, с прямым носом и упрямым подбородком. Брови — сведённые, как будто он хмурился с рождения и так и не нашёл повода перестать. Глаза — светлые, голубые, холодные, как вода в проруби.

Лет тридцать пять. Может, чуть меньше. Красивый — если вам нравятся мужчины, которые похожи на ледяную

скульптуру с папкой.

Мне не нравились.

Он посмотрел на меня. На ночную рубашку. На носки. На сажу. На каравай.

Ни один мускул не дрогнул у него на лице.

— Владелица? — спросил он.

— Да. То есть... Наверное. Со вчерашнего дня. Лидия Ферн. А вы кто?

— Люсьен Ренар, — представился мужчина. — Старший инспектор Палаты огненного надзора, отдел огненных объектов, — он вынул из нагрудного кармана карточку и показал мне, держа на расстоянии вытянутой руки, как будто боялся, что я её схвачу. На карточке был тот же язык пламени в круге, его имя, должность и печать. — Вчера в одиннадцать часов сорок минут утра наш дежурный амулет зафиксировал активацию огненного объекта по данному адресу. Объект не зарегистрирован в реестре с момента его консервации двадцать лет назад. Сегодня в двенадцать часов тридцать минут зафиксирована повторная активация, с повышением температуры до рабочей, — он убрал карточку. — Это вы растопили печь?

— Не я. Уголёк.

— Кто?

— Уголёк. Он там живёт. В печи.

Инспектор Ренар посмотрел на меня. Потом мимо меня, в глубину пекарни, где из открытой двери цеха лилось рыжее

печное зарево. Потом — снова на меня.

— Позвольте войти, — сказал он. Это был не вопрос.

Я посторонилась.

* * *

Он вошёл, как входят в чужой дом люди, которые точно знают, что имеют на это право. Не оглядываясь. Не вытирая ноги. Хотя — я заметила — он всё-таки остановился на пороге и посмотрел на пол. На пыль. На мышинный помёт. На серую корку старой муки. И что-то записал в блокнот, который возник у него в руке так же внезапно, как карточка.

Прошёл через лавку. Прямо, по центру, не касаясь ни прилавка, ни полок. Остановился в дверях цеха.

Печь гудела. Огонь в ней — рыжий, весёлый, живой — плясал под сводом. Заслонка была открыта. На краю устья, свесив хвост, сидел Уголёк. Он жевал корочку. Увидев инспектора, перестал жевать.

Инспектор Ренар поднял свою металлическую указку. Прозрачный камень на её конце засветился — сначала бледно-жёлтым, потом оранжевым, потом красным. Инспектор посмотрел на цвет. Записал что-то в блокнот.

— Температура свода — около четырёхсот градусов, — сказал он, ни к кому не обращаясь. — Тяга — неудовлетворительная. Кладка нарушена: отсутствует кирпич в нижнем правом ряду у основания, — он указал жезлом. — Вот здесь. Трещины в своде — три видимых, длиной от ладони до локтя. Защитный контур... — он провёл жезлом вдоль печи, ка-

мень мигнул и потускнел, — не функционирует. Полностью. Огненное существо — одно. Активное, — он посмотрел на Уголька. — Незарегистрированное.

— Тысяча триста сорок один, — сказал Уголёк.

Инспектор моргнул.

— Простите?

— Кирпич. Один выпал. Я говорил. Я ей говорил! — он ткнул в мою сторону хвостом, и с хвоста сорвалось несколько искр. — Тысяча триста сорок один!

Инспектор Ренар посмотрел на Уголька долгим взглядом. Потом раскрыл свою папку. Достал оттуда бланк. Положил на дубовый стол, прямо в муку — сдул её предварительно, аккуратно, с края. Снял перчатку с правой руки. Достал из кармана перо — самопишущее, с медным колпачком.

И начал писать.

— Огненное существо, — проговаривал он вслух, ровно, монотонно, будто диктовал сам себе, — тип... малый огненный элементаль, класс четвёртый, стационарный, привязанный к очагу. Возраст — не установлен. Состояние — активное. Регистрация — отсутствует.

Тишина.

Огонь в печи — я видела — вдруг сжался. Стал меньше. Темнее. А потом взревел — с гулом, с треском, вырвался из устья языком на полметра, лизнул свод, — и Уголёк поднялся на все четыре лапы, выгнул спину, и из трещин на его чёрной шкуре полыхнуло так, что я зажмурилась.

— КАК? — заорал он. — КАК ТЫ МЕНЯ НАЗВАЛ?

Инспектор Ренар не поднял глаз от бланка.

— Малый огненный элементаль, класс четвёртый, — повторил он. — Согласно классификатору Палаты, раздел три, пункт семь.

— Я ДРАКОН!

— В классификаторе Палаты, — ровно сказал инспектор. — Драконы не относятся к огненным существам, привязанным к очагу. Драконы — свободные существа высшей категории. Регистрируются в Министерстве иностранных дел, — он поднял на Уголька холодные глаза. — Вы зарегистрированы в Министерстве иностранных дел?

— Я... — Уголёк задохнулся. Из ноздрей у него повалил дым. — Я... Я двести лет... В этой печи!.. Я в яйце сюда попал!.. Тереза Ферн...

— Значит, нет, — сказал инспектор. И записал: — «Дракон — по заявлению существа. Документального подтверждения не представлено».

Уголёк открыл пасть. Закрыл. Открыл снова. Из неё вырвался сноп искр — и долетел до стола, до бланка. Одна искра упала на бумагу. Бумага затлела.

Инспектор Ренар, не меняя выражения лица, прихлопнул искру ладонью. Голой ладонью. Посмотрел на ладонь — на ней осталось маленькое чёрное пятнышко. Страхнул его. Дописал:

— «Агрессивное поведение. Попытка повреждения доку-

ментов».

— Эй! — возмутилась я.

Инспектор поднял голову. Посмотрел на меня. Как будто только сейчас вспомнил, что я тоже здесь.

— Владелица?

— Не называйте его так. «Малый элементарь». Это обидно.

— Это классификация.

— Это обидно! — я шагнула вперёд, забыв, что в двух шагах от меня гудит открытая печь. — Он двадцать лет сидел в холодной печи! Один! Он держал огонь, когда горела пекарня! Он мою бабушку... он мою улицу спас! А вы приходите и пишете на него в бумажку — «малый»!

— Агрессивное поведение, — тихо добавил Уголёк из печи. — Попытка повреждения документов. Ты это тоже слышала?

— Слышала!

Инспектор Ренар выпрямился. Медленно. Положил перо на стол.

— Сударыня Ферн, я понимаю, что вы взволнованы. Позвольте объяснить вам ситуацию, — голос у него не изменился ни на тон. Ровный. Холодный. Терпеливый — так терпеливо объясняют ребёнку, почему нельзя совать пальцы в розетку. — Перед вами огненный объект третьего класса. Печь, рассчитанная на дровяной и магический нагрев одновременно. Таких в Лавье осталось одиннадцать. Двадцать лет назад

эта печь стала причиной пожара, в котором погиб человек. Причина пожара не установлена. Печь была законсервирована. Сейчас её снова растопили. Без разрешения. Без проверки. С неработающим защитным контуром, с нарушенной кладкой, с трещинами в своде. И с огненным существом внутри, которое, по моим наблюдениям, плохо контролирует свою температуру.

— Я прекрасно контролирую! — возмутился Уголёк.

Огонь в печи снова взревел.

— Вот, — сказал инспектор, не оборачиваясь.

Я молчала.

— Если эта печь снова загорится, — сказал Ренар. — Синим огнём, или любым другим, — она может сжечь не только пекарню. Дом четыре стоит вплотную к дому два, где контора нотариуса с архивом, и к дому шесть. Наискосок — чайная, через улицу — мастерская артефактора, где хранятся горючие материалы и экспериментальные устройства. Я ознакомился. — Он помолчал. — Вы понимаете, сударыня Ферн, что произойдёт, если здесь случится пожар?

Я понимала.

Синее пламя до неба. Мама в ночной рубашке посреди улицы. Бабушка в подвале, со сложенными чашечкой ладонями.

Я понимала лучше, чем он мог себе представить.

— Да, — сказала я. Тихо.

— Хорошо, — сказал инспектор Ренар. И снова взял перо.

— Тогда вы поймёте моё решение.

* * *

Решение заняло две страницы.

Он писал минут десять. Я стояла у двери цеха, Уголёк сидел на краю устья и дымился, огонь в печи гудел ровно и тихо, будто тоже прислушивался. Инспектор писал. Аккуратно, мелко, ровным почерком, не отрывая пера. Иногда останавливался, поднимал жезл, проверял что-то, записывал снова.

Потом поставил подпись. Достал из кармана маленькую печать — медную, круглую, с тем же языком пламени. Подышал на неё. Приложил к бланку.

Потом подошёл к печи.

— Отойдите, пожалуйста, — сказал он Угольку.

— Не отойду.

— Отойдите. Мне нужно закрыть заслонку.

— Это моя заслонка.

— Это заслонка огненного объекта, эксплуатация которого с настоящего момента запрещена. Если вы не отойдёте, я буду вынужден закрыть её вместе с вами. Внутри. Вы останетесь в печи, но огонь будет переведён в режим консервации. Минимальный нагрев. Без дров. Без выпечки.

— А если я не позволю?

Инспектор посмотрел на него. Очень спокойно.

— Тогда я вызову бригаду. Бригада принесёт ледяные камни. Вы знаете, что такое ледяные камни?

Уголёк вдруг сжался. Огонь в печи сжался вместе с ним. Стал маленьким, тусклым, жалким.

— Знаю, — ответил он глухо.

— Я не хочу их использовать, — сказал инспектор. И мне показалось — только показалось, на одну секунду, — что в его ровном голосе что-то дрогнуло. — Но если понадобится — использую. Отойдите, пожалуйста.

Уголёк посмотрел на меня.

Я не знала, что сказать. Я стояла у двери, прижимая к груди каравай, — я так его и не положила, — и не знала, что сказать.

— Уголёк, — сказала я наконец. — Отойди.

Он смотрел на меня долго. Оранжевые глаза в чёрной морде. Обиженные. Растерянные.

Потом развернулся и уполз в печь. В глубину. К самой задней стенке. Свернулся там клубком. Огонь вокруг него стал совсем маленьким — несколько язычков, не больше, как на газовой конфорке на самом слабом режиме.

Инспектор Ренар взялся за заслонку. Голой рукой — правой, без перчатки. Заслонка должна была быть раскалённой. Он задвинул её так, будто она была комнатной температуры. Только на тыльной стороне его ладони — я заметила — белел старый шрам. Длинный, неровный, от запястья к костяшкам. Такие остаются от ожогов.

Он достал из папки полоску плотной бумаги и кусок красного сургуча. Растопил сургуч — не свечой, не спичкой, про-

сто подержал в пальцах, и сургуч потёк. Наложил полоску поперёк заслонки, прижал сургучом с двух концов, приложил печать.

«Опечатано. Палата огненного надзора. Эксплуатация запрещена».

Он отступил на шаг. Посмотрел на печать. Записал что-то в блокнот.

Повернулся ко мне.

— Ваш экземпляр, — сказал он и протянул мне бланк.

Я взяла. Одной рукой. В другой у меня был каравай.

«Протокол осмотра огненного объекта номер 3-11-4. Владелец: Л. Ферн. Выявленные нарушения: 1. Отсутствие разрешения на эксплуатацию. 2. Отсутствие регистрации огненного существа. 3. Неисправность защитного контура. 4. Нарушение целостности кладки. 5. Трещины свода. 6. Несоответствие помещения санитарным нормам (пыль, следы грызунов, испорченное сырьё). 7. Агрессивное поведение огненного существа. 8. Попытка повреждения документов. Решение: эксплуатация объекта запрещена до устранения нарушений. Огненное существо переведено в режим консервации. Штраф: пять крон за несанкционированную активацию. Срок уплаты штрафа — десять дней».

— Пять крон. У меня нет пяти крон. У меня вообще нет крон. У меня есть двенадцать тысяч рублей и карта «Сбера», которая здесь, наверное, не работает.

— Не работает, — согласился инспектор. Он явно не по-

нял ни слова, но согласился с такой уверенностью, будто понимал всё. — Вы можете обжаловать штраф в течение пяти дней. Бланк обжалования можно получить в Палате, Мостовая площадь, дом три, второй этаж, окно четыре. Приёмные часы — с девяти до двенадцати.

— Вы серьёзно?

— Я всегда серьёзно, сударыня Ферн.

Это было видно.

Он застегнул папку. Надел перчатку. Убрал жезл во внутренний карман пальто.

И тут я сделала то, чего сама от себя не ожидала.

Я протянула ему каравай.

— Возьмите.

Инспектор Ренар посмотрел на каравай. Потом на меня. В первый раз за весь разговор на его лице появилось что-то похожее на выражение. Удивление. Лёгкое, едва заметное, как трещина в ледяной корке.

— Что это?

— Хлеб. Хлеб с тмином. Первый. Я его в этой печи испекла. Сегодня. Час назад. С ним, — я кивнула на опечатанную заслонку. — Он его подцепил. Лапой. Я издалека протянула. Я боюсь огня. Я никогда в жизни не пекла в живой печи. Это первый.

Я сама не знала, зачем я это говорю. Слова лезли сами — как тесто из кастрюли, когда оно перестояло.

— Мама говорила, что первый хлеб из новой печи нельзя

есть самой. Надо отдать. Первому, кто придёт. Чтобы печь была доброй, — я протянула каравай ещё дальше. — Вы пришли первым.

Инспектор Ренар смотрел на каравай. Долго. Целую секунду. Может, две.

— Не положено.

— Что?

— Инспектору Палаты запрещено принимать что-либо от владельцев проверяемых объектов. Это может быть расценено как взятка, — он отступил на шаг. — Благодарю. Нет.

Я опустила руки.

Каравай был тёплый. Румяный. С трещиной по боку и подгоревшим тмином на корочке. Я испекла его, вцепившись в косяк, трясясь, ревя в три ручья. Первый хлеб в бабушкиной печи. Первый за двадцать лет.

А этот — «не положено».

— Вон, — процедила я.

Инспектор Ренар поднял бровь. Одну.

— Простите?

— Вон! — голос у меня сорвался в крик, и мне было уже всё равно. — Вон из моей пекарни! Вы пришли, вы всё опечатали, вы назвали Уголька малым, вы выписали мне штраф, который я не могу заплатить, вы сказали, что у меня мыши! Мыши! Да! У меня мыши! Тут двадцать лет никого не было! Тут бабушка моя погибла. А вы — «не положено»! Вон! Вон отсюда, с вашей папкой, с вашей палочкой, с вашими блан-

ками! Вон!

Я топнула ногой. В вязаном носке. По пыльному полу. Звук получился неубедительный — «шлёп».

Инспектор Ренар смотрел на меня. Совершенно спокойно. — Я уйду. Мой осмотр закончен. Но прежде чем я уйду, сударыня Ферн, позвольте мне сказать одну вещь.

— Ну?!

— Печь не пострадала от растопки, — сказал он ровно. — Огонь был ровный, без перепадов. Существо, несмотря на агрессивность, держало температуру внутри допустимого диапазона. Хлеб, — он посмотрел на каравай, — судя по цвету корочки и равномерности подъёма, пропечён правильно. Для первого раза в незнакомой печи — исключительно правильно, — пауза. — Я записываю всё, что вижу, сударыня. В том числе и это.

Он повернулся и пошёл к выходу.

Я стояла с открытым ртом.

У двери он остановился. Не обернулся.

— Завтра в девять. Я приду с полным перечнем того, что необходимо исправить для получения разрешения. Будьте, пожалуйста, одеты.

И вышел.

Колокольчика над дверью пекарни не было. Дверь просто закрылась. Тихо, плотно, с глухим стуком.

* * *

Я стояла посреди пыльной лавки. С караваем. В ночной

рубашке до пят.

«Будьте, пожалуйста, одеты».

— Он... — я задохнулась. — Он сказал... Ты слышал? Ты слышал, что он сказал?

— Слышал, — глухо ответил Уголёк из-за опечатанной заслонки. — Он сказал «малый». Два раза. И «агрессивное поведение». И «ледяные камни».

— Он сказал, чтобы я была одета!

— Ну, ты в ночнушке, — заметил Уголёк. — Чужой. Длинной. Он прав.

— Ты на чьей стороне?!

— На твоей. Но он прав, — пауза. — Он гад. Но он прав. Я села на пол. Прямо в пыль. Положила каравай себе на колени.

Дверь пекарни снова открылась. Без стука. Вошла Вера — с Гортензией на плече. За ней — Мира. За Мирой — Марта. За Мартой — Элиза, с гаечным ключом. За Элизой — Тобиас.

— Мы видели, — сказала Вера. — В окно. Он вышел, сел в карету и уехал. С печатью на папке, — она посмотрела на меня. — Что случилось?

Я протянула ей протокол.

Вера прочитала. Быстро — у неё был такой взгляд, которым читают документы люди, всю жизнь читавшие документы. Пробежала глазами, перевернула, пробежала ещё раз. Передала Марте.

— Ренар. Я о нём слышала. Адриан говорил. Самый строгий инспектор Палаты. Никогда не берёт ни взятки, ни подарков, ни поблажек. Закрыв в прошлом году половину пекарен Нижнего города. Говорят, у него нет сердца. Только устав.

— Говорят, у него ожог на руке, — добавила Марта, не отрываясь от протокола. — От детства. Мне прачка с Кожевенной рассказывала. А ей — кухарка Палаты. А кухарке...

— Марта, — остановила её Вера.

— Я не сплетничаю! Я обеспечиваю...

— Знаю.

— Пожарный, — сказала Гортензия с Вериного плеча. Задумчиво. — У тебя фараон, Вера. А у рыжей — пожарный.

— У меня нет никакого пожарного! — взвилась я.

— Будет, — пообещала Гортензия.

— Не будет!

— Будет, — повторила сорока. — Я старший оценщик. Я вижу.

Я запустила в неё куском каравая. Промажнулась. Гортензия поймала кусок на лету, клювом, и с достоинством удалилась на подоконник.

— С тмином, — сообщила она оттуда. — Неплохо. Почти как у Розы.

Марта дочитала протокол. Сняла очки.

— Пять крон штрафа. Мыши. Кладка. Контур. Существо. Санитария, — она посмотрела на меня. — Лидочка. Ты, мо-

жет, всё-таки назад? Через дверь? Пока улица отпускает?

Все посмотрели на меня.

Я сидела на полу, в пыли, с надкушенным караваем на коленях. Дверь за моей спиной — дверь в мой мир — была где-то там, за кирпичной стеной с афишей. «Ласточка» уходила через... я посмотрела на телефон — прочерки. Неважно. Наверное, уже ушла. Ленка, наверное, звонит мне каждые пять минут, и у неё не получается.

Москва. Патриаршие. «Буше-Беше». Зарплата в три раза больше. Электрические печи — конвекционные, ротационные, подовые с ТЭНами. Ни одного живого огня. Ни одного инспектора, который говорит «не положено» и «будьте, пожалуйста, одеты».

— Нет.

— Нет? — переспросила Марта.

— Нет, — я встала. Отряхнула ночную рубашку. Пыль не отряхнулась. — Я никуда не пойду. Я открою эту пекарню.

— Лидия, — осторожно начала Вера. — Может быть, стоит сначала подумать...

— Я двадцать пять лет думаю, — перебила я. — Мне Ленка вчера сказала. Хватит, — я посмотрела на опечатанную заслонку. На красную сургучную печать. На полоску бумаги: «Эксплуатация запрещена». — Он сказал, что завтра принесёт список. Пусть несёт. Я сделаю всё, что в нём будет написано. Всё. До последнего пункта. А потом он придёт, и поставит подпись, и снимет свою дурацкую печать, и я испеку

ему каравай. И он его съест. Весь. При мне. И скажет «спасибо».

Тишина.

— Это, — сказала Вера медленно. — Очень амбициозный план.

— Это не план. Это назло.

Элиза в дверях подняла гаечный ключ.

— Назло — это хорошо, — сказала она с одобрением. — Я свою первую мастерскую тоже назло открыла. Отцу назло. Ну, то есть, памяти отца. Гильдии назло. Всем назло, — она подумала. — Правда, она взорвалась.

— Мне это очень помогает, — буркнула я.

— Я к тому, что контур я посмотрю. Завтра. С утра. Бесплатно. Ну, почти бесплатно. За хлеб.

— Я кладку посмотрю, — сказал Тобиас тихо. — Я, конечно, не печник. Но я сорок лет кладу маленькие кирпичики. Колёсики. Пружинки. Это почти то же самое.

— А я, — сказала Марта. — Пойду сейчас к себе и принесу тебе нормальную одежду. Потому что этот, — она кивнула на дверь, за которой скрылся инспектор. — Может, и гад. Но в ночнушке ты действительно выглядишь, как привидение из погребца.

— Пухлое привидение, — добавил Уголёк из-за заслонки.

— Заткнись, — огрызнулась я.

— Молчу.

— Это временно, — ответила я. Сама не знаю зачем. Про-

сто вырвалось. — Пока он не съест каравай. А потом — посмотрим.

Мира хихикнула. Гортензия на подоконнике закатила глаза — я не знала, что сороки так умеют. Вера посмотрела на меня своим оценивающим взглядом, долго, а потом чуть-чуть улыбнулась.

— Конечно. Временно.

А из-за опечатанной заслонки, из глубины печи, сквозь сургуч и бумагу, донеслось тихое, довольное, почти неслышное ворчание.

Как мурлыканье.

Глава 5. Список

В девять утра я была одета.

Одета — это громко сказано. Марта принесла мне вечером три своих платья, «старых, которые я уже не ношу, а выбросить жалко», и все три оказались мне велики в груди, коротки в рукавах и широки в талии. Марта была крупнее меня, выше меня и, по её собственным словам, «в молодости была ого-го». Платья помнили это «ого-го» и не собирались меня в него пускать.

Я выбрала самое скромное. Тёмно-синее, шерстяное, в мелкий белый цветочек. Подвернула рукава. Затянула пояс — Мартин же, кожаный, с медной пряжкой. Поверх — фартук. Свой, из чемодана, белый, с вышитой на кармане надписью «Семейный — всегда свежее!». Волосы убрала под косынку. Тоже Мартину. В горошек.

Посмотрела на себя в зеркало в Вериной прихожей.

— Я похожа на доярку.

— На пекаря, — сказала Вера из кухни.

— На доярку, которая решила стать пекарем.

— Это лучше, чем привидение из погреба, — сказала Гортензия с вешалки.

Я показала ей язык. Она показала мне клюв.

Без пяти девять я стояла на крыльце пекарни. На второй ступеньке, левый край, — чтобы скрипнула. Она скрипнула.

Мне стало чуть легче.

В девять ровно — я услышала, как часы на какой-то башне в городе пробили девять, — под аркой появилась карета. Чёрная, с тем же медным языком пламени на дверце. Карета остановилась у кирпичной стены, — дальше, видимо, не проехать, — и из неё вышел инспектор Ренар.

Тот же. В том же сером пальто, застёгнутом под горло. С той же папкой. Только папка была толще.

Он пересёк улицу. Остановился у нижней ступеньки. Посмотрел на меня — на косынку в горошек, на платье в цветочек, на фартук с надписью «Семейный — всегда свежее!».

— Доброе утро, — поздоровался он.

— Доброе. Я одета.

— Я вижу, — он помолчал. — Что значит «Семейный»?

— Это магазин. Где я работала. Там, — я неопределённо махнула рукой в сторону кирпичной стены. — Откуда я пришла.

— «Всегда свежее», — прочитал он вслух. Без всякого выражения.

— Это лозунг.

— Это обязательство. В Лавье за ложную рекламу о свежести продукции предусмотрен штраф в две кроны.

Я открыла рот.

— Это шутка.

Я закрыла рот.

Лицо у него было совершенно неподвижное. Ни улыбки,

ни искорки в глазах. Ничего. Я так и не поняла, шутка это или нет. Потом — много позже — я узнала, что это была шутка. И что он придумывал её всю дорогу от Мостовой площади до улицы Трёх Лун. И что это была первая шутка, которую он сказал на работе за одиннадцать лет службы.

Но тогда я не знала.

— Проходите.

* * *

Мы сели в лавке пекарни. За прилавок с треснувшей мраморной столешницей. Я вытерла её с утра — тряпкой, мылом, дважды. Мрамор оказался белым с серыми прожилками. Трещина шла посередине, ровно, как река на карте.

Инспектор Ренар раскрыл папку. Вынул из неё стопку листов. Положил передо мной.

— Перечень. Всего, что необходимо исправить для получения разрешения на эксплуатацию огненного объекта третьего класса.

Я посмотрела на стопку. Листов было семь. Исписаны с двух сторон. Мелким, ровным, аккуратным почерком — тем же, что в протоколе.

— Это... — я сглотнула. — Это всё?

— Двадцать три пункта.

— Двадцать три.

— Верно

Я взяла первый лист.

«Пункт 1. Регистрация огненного существа.

Что требуется: подать в Палату огненного надзора заявление по форме 7-Б (бланк прилагается) с указанием вида, класса, возраста существа и сведений о владельце.

Почему: незарегистрированное существо не может находиться на объекте, получившем разрешение.

Как: заявление заполняется владельцем. Существо должно присутствовать при подаче либо быть представлено магическим слепком. Слепок может снять любой лицензированный артефактор.

Срок рассмотрения: десять дней.

Пошлина: одна крона.

Примечание: в графе «вид» допускается указание «иное» с пояснением».

Я подняла глаза.

— «Иное с пояснением»?

— Если вы не согласны с классификацией, — ровно сказал инспектор. — Вы вправе указать вид существа по собственному мнению. Палата рассмотрит. Решение — за комиссией.

Из-за опечатанной заслонки в цеху раздалось:

— ДРАКОН! Пиши «дракон»!

Инспектор не повернул головы.

— С пояснением, — повторил он.

Я перевернула лист.

«Пункт 2. Восстановление защитного контура.

Что требуется: полная ревизия и восстановление защит-

ного контура печи. Контур должен обеспечивать: удержание температуры свода в пределах 150–450 градусов; аварийное гашение при превышении; изоляцию огненного существа от наружных стен.

Почему: неисправный контур — основная причина возгораний огненных объектов третьего класса (по статистике Палаты за последние двадцать лет — шестьдесят один процент случаев).

Как: работы выполняются лицензированным артефактором. На улице Трёх Лун, дом девять, проживает мастер-артефактор Элиза Рон, лицензия Гильдии номер один. Её квалификация достаточна.

Ориентировочная стоимость: от пятнадцати до сорока крон, в зависимости от состояния контура.

Примечание: прежний контур был установлен мастером Валлем около шестидесяти лет назад. Схемы Валля хранятся в архиве Гильдии артефакторов. Мастер Рон может запросить их бесплатно».

Я опустила лист.

— Вы... — я запнулась. — Вы нашли, кто ставил контур? Шестьдесят лет назад?

— Это есть в архиве Палаты. Все огненные объекты третьего класса имеют паспорт.

— Вы прочитали паспорт моей печи.

— Это моя работа.

— Вы написали, что Элиза может это сделать. И что схемы

можно взять бесплатно.

— Это сведения, относящиеся к делу.

Я смотрела на него. Он смотрел на меня. Ровно, спокойно, без всякого выражения.

Я перевернула следующий лист.

«Пункт 3. Восстановление кладки.

Что требуется: замена выпавшего кирпича в нижнем правом ряду; заделка трещин свода огнеупорным раствором; проверка всех швов.

Как: работы выполняются печником, имеющим допуск Палаты к работе с огненными объектами. В Лавье таких печников четверо. Наиболее подходящий — мастер Гаспар Ру, Кирпичный переулоч, дом двенадцать. Специализируется на старых печах. Берёт недорого, но пьёт по четвергам. Не обращаться в четверг.

Ориентировочная стоимость: от восьми до двенадцати крон.

Кирпич: огнеупорный, марки «Ш». Можно приобрести у мастера Ру».

«Не обращаться в четверг».

Я подняла голову.

— Это тоже в паспорте печи?

— Это из личного опыта. Я однажды обратился к нему в четверг.

Я не выдержала и засмеялась. Громко, неприлично, на всю пекарню. Инспектор смотрел на меня, и лицо у него было со-

вершенно неподвижным. Только — мне показалось — уголок рта чуть-чуть дёрнулся. На волосок.

— Что было? — спросила я, отсмеявшись.

— Он заложил печь. В которой ещё находилось огненное существо. Кирпичом. Сказал, что так надёжнее.

— И что существо?

— Существо было в ярости. Мы его выкапывали три часа.

Из-за заслонки в цеху донёсся сдавленный звук. Как будто кто-то очень старался не засмеяться и подавился дымом.

* * *

Пунктов было двадцать три.

Я читала их час. Инспектор Ренар сидел напротив и ждал. Не торопил. Не комментировал, пока я не спрашивала. Когда спрашивала — отвечал. Коротко, точно, без лишних слов.

Пункт четыре — чистка дымохода. «Трубочист — Жан-Мари Пулен, улица Сажи, дом три. Работает по вторникам и пятницам. Две кроны».

Пункт пять — санитарная обработка помещения. «Полная уборка, побелка стен цеха, замена испорченного сырья. Избавление от грызунов: кот (рекомендуется) или отпугивающий амулет (менее эффективен, дороже)».

— Кот? — переспросила я.

— Кот, — подтвердил инспектор. — У госпожи Брей, — он кивнул в сторону чайной, — имеется рыжий кот. По моим наблюдениям — крупный и деятельный. Можно догово-

риться об аренде.

— Аренде кота.

— Временной.

Пункт шесть — огнеупорная пропитка деревянных поверхностей в цеху. Пункт семь — замена заслонки, «треснула у основания, при длительной эксплуатации возможно разрушение». Пункт восемь — установка в цеху ящика с ледяными камнями.

Я остановилась на пункте восемь.

— Ледяные камни. Вы вчера ими... угрожали. Уголёк их боится.

— Ледяные камни — обязательное средство пожаротушения для огненных объектов третьего класса. Ящик должен находиться в цеху. Закрытый. Опечатанный. Вскрывается только в случае пожара.

— Он будет знать, что они там.

— Он будет знать, что они там, — согласился инспектор.
— И это хорошо.

— Почему хорошо?

Инспектор Ренар посмотрел на меня. Долго.

— Потому что огненное существо, которое знает, что рядом есть ледяные камни, — сказал он медленно. — Держит температуру аккуратнее. Не из страха. Из уважения. Это как... — он поискал слово. — Как у вас есть нож. Острый. Вы его не боитесь. Но вы с ним осторожны.

Я посмотрела на свой нож. Японский, подарок на выпуск.

Он лежал в чемодане у Веры. Я его вчера вынимала — резать хлеб.

— Откуда вы знаете про нож?

— Я не знаю. Но вы пекарь. У каждого пекаря есть хороший нож.

Я помолчала.

— Он умрёт от них? — спросила я тихо. — От ледяных камней? Если их... если вскрыть?

Инспектор Ренар помолчал тоже.

— Нет, — ответил он наконец. — Не умрёт. Заснёт. Надолго. Может быть, на годы, — он смотрел мимо меня, в сторону цеха. — Я никогда не использовал их на живом существе, сударыня Ферн. За одиннадцать лет. Ни разу.

— Но вчера сказали, что используете.

— Вчера сказал, — согласился он. — Чтобы он отошёл от заслонки.

Я смотрела на него.

— Это была ложь?

— Это было... — инспектор Ренар чуть нахмурился, как будто искал формулировку, которая не нарушила бы какого-нибудь пункта какого-нибудь устава. — Это была мера убеждения.

* * *

Пункты девять — пятнадцать касались помещения. Вентиляция. Освещение («ламповые камни вместо свечей в цеху, обязательно»). Пол («каменный или глиняный, деревян-

ный — недопустим вблизи устья»). Хранение муки («на поддонах, не на полу, не ближе пяти шагов к печи»). Хранение дров. Вода — «бочка не менее сорока вёдер, в пределах досягаемости».

Пункты шестнадцать — двадцать — документы. Торговое разрешение — в Торговой палате, восемь крон. Санитарное свидетельство — в Санитарной управе, после осмотра, три кроны. Свидетельство о праве собственности — у нотариуса, Дария Вель. Свидетельство о регистрации огненного существа — см. пункт один.

Пункт двадцать один.

«Курс обращения с огненными объектами.

Что требуется: владелица огненного объекта третьего класса обязана пройти курс «Безопасное обращение с огненными объектами и существами» и сдать экзамен в Палате огненного надзора.

Курс: двенадцать занятий, по вечерам, в здании Палаты. Ведёт: старший инспектор Л. Ренар.

Экзамен: теоретический и практический. Практическая часть — растопка, поддержание и гашение огня в учебной печи.

Пошлина: две кроны».

Я прочитала это. Потом прочитала ещё раз.

— Растопка, — сказала я. Голос у меня стал тонкий. — Практическая часть. Растопка. Самой.

— Да.

— Я не могу.

Инспектор поднял на меня глаза.

— Я не могу растопить печь. Я боюсь огня. Я вам вчера сказала. Я даже спичку зажечь не могу. Я хлеб на лопате протягивала, на вытянутых руках, с другого конца цеха, и редела при этом! Вы видели! Я была в саже!

— Видел.

— Ну и как я сдам экзамен по растопке?

Инспектор Ренар смотрел на меня. Долго. Светлые голубые глаза. Ледяные. Неподвижные.

— Курс ведёт старший инспектор Л. Ренар, — сказал он ровно. — Двенадцать занятий. Это достаточно времени.

— Достаточно для чего?

— Для того, чтобы перестать бояться, — он сказал это так же спокойно, как всё остальное. Как будто зачитывал пункт устава. — Или научиться работать с огнём, продолжая бояться. Это тоже допустимо. Большинство моих курсантов боятся огня, сударыня Ферн. Это нормально. Огонь опасен. Тот, кто его не боится, — дурак. Дураков я не допускаю к экзамену.

Я молчала.

— Занятия — по вторникам и четвергам, в семь вечера. Ближайшее — послезавтра.

— В четверг.

— В четверг.

— Когда мастер Ру пьёт.

— Мастер Ру не ведёт курс, — сказал инспектор Ренар невозмутимо. — Курс веду я. Я не пью.

— Никогда?

— На службе — никогда.

— А не на службе?

Он посмотрел на меня. В первый раз за всё время — по-настоящему посмотрел, не как на владелицу объекта номер 3-11-4. Как на человека. Удивлённо. Как будто я спросила что-то, о чём его никто никогда не спрашивал.

— Не на службе я не бываю.

И опустил глаза в папку.

* * *

Последние два пункта он объяснил устно.

Пункт двадцать два — проверка дымоходной трубы на предмет «посторонних каналов и отводов». Я не поняла, что это значит, и он сказал, что это формальность, у старых печей иногда бывают лишние ходы, которые надо заложить. Пункт двадцать три — финальная проверка, его, инспектора, с пробной растопкой и выпечкой «контрольной партии».

— Контрольной партии? — спросила я.

— Один хлеб. Испечённый при мне. По всем правилам.

— И вы его съедите?

Инспектор Ренар чуть помедлил.

— Я его проверю. Контрольная партия подвергается проверке на равномерность пропекания, цвет корки и отсутствие посторонних включений.

— Проверите — как? Посмотрите? Понюхаете?

— Разрежу.

— А потом?

Он помолчал.

— Это не регламентировано.

Я засмеялась. Опять. Не могла удержаться.

Он закрыл папку. Положил сверху ещё один лист — отдельный, свёрнутый вдвое.

— Здесь, — сказал он, — сводка расходов. Ориентировочная. По моим подсчётам, с учётом всех пунктов, вам понадобится от ста двадцати до ста шестидесяти крон. Без учёта сырья и дров. Срок — на ваше усмотрение. Временно-го разрешения на выпечку до выполнения хотя бы первых восьми пунктов я выдать не могу. После выполнения первых восьми — могу. С ограничениями.

— Сто шестьдесят крон.

— Ориентировочно.

— У меня нет ни одной.

— Я знаю, — сказал инспектор. И, помолчав, добавил: — Штраф в пять крон может быть снижен до одной, если пункты один — три будут выполнены в течение десяти дней. Это предусмотрено статьёй сорок второй. Обжалование в этом случае не требуется.

Он встал. Застегнул папку. Надел перчатки.

Я сидела за прилавком. Передо мной лежали семь листов, исписанных с двух сторон, и сводка расходов. Двадцать три

пункта. Имена, адреса, цены. Трубочист, который работает по вторникам и пятницам. Печник, к которому нельзя в четверг. Кот, которого можно арендовать. Схемы мастера Валля, которые можно взять бесплатно. Статья сорок вторая, по которой штраф снижают с пяти крон до одной.

И я вдруг поняла.

Это не был список того, что я сделала не так.

Это была дорога.

Он не пришёл меня закрывать. Он пришёл показать, как открыться. Пункт за пунктом. Шаг за шагом. С адресами, с ценами, с подсказками. С «не обращаться в четверг».

— Инспектор, — окликнула я.

Он остановился у двери.

— Вы мне помогаете, — произнесла я и это был не вопрос.

Инспектор Ренар не обернулся. Постоял. Секунду. Две.

— Я выполняю свою работу, сударыня Ферн. Моя работа — чтобы огненные объекты Лавье работали безопасно. Не чтобы они не работали вовсе, — пауза. — Закрытая пекарня — это не безопасность. Это просто закрытая пекарня.

Он открыл дверь. Холодный воздух ворвался в лавку, пахнувший снегом.

— Подождите.

Я вскочила. Схватила с полки корзинку — ту самую, плетёную, из угла, я её отмыла утром. В корзинке лежали булочки. Я испекла их на рассвете, у Веры, на волшебном камне, — шесть штук, с маком, просто потому что не спала и

руки чесались. Я их взяла с собой. На всякий случай. Сама не знаю, на какой.

— Возьмите. Это не взятка. Это не из этой печи. Это с камня. У Веры испекла. Это... — я запнулась. — Это просто булочки. Вам в дорогу. Вы, наверное, не завтракали.

Он посмотрел на корзинку.

— Не положено.

— Я знаю, что не положено! — у меня опять начал срываться голос, и я ничего не могла с этим поделать. — Я знаю! Но вы два часа сидели и объясняли мне про кота и про четверг, и про то, что огня бояться — нормально, и вы составили список, на который, наверное, полночи потратили, и... — я сунула ему корзинку почти в грудь. — Возьмите. Пожалуйста. А то я обижусь. А когда я обижаюсь, я пеку. А когда я пеку, мне нужна печь. А печь опечатана. Вы же не хотите, чтобы я её распечатала?

Инспектор Ренар посмотрел на корзинку. На меня. Снова на корзинку.

— Это шантаж.

— Это мера убеждения, — возразила я.

Тишина.

Он взял корзинку.

Не сказал ничего. Просто взял. Двумя руками, в серых перчатках, как берут что-то, что может разбиться. Постоял. Повернулся. Вышел.

Я смотрела в окно, как он идёт через улицу к карете. Пря-

мой, как палка. Пальто застёгнуто под горло. Папка — под мышкой. Корзинка с булочками — в руке. Он нёс её чуть на отлёте, как будто не знал, что с ней делать.

У кареты он остановился. Открыл дверцу. Поставил корзинку на сиденье. Помедлил.

Потом взял одну булочку. Посмотрел на неё. И откусил.

Прямо там, у кареты, на морозе, на глазах у всей улицы.

Я видела, как он жуёт. Медленно. Сосредоточенно. Как будто проводит проверку на равномерность пропекания и отсутствие посторонних включений.

Потом он сел в карету. И карета уехала.

— Он её съел, — сказала я. Шёпотом. Никому.

— Съел, — подтвердили из-за заслонки. — Я в щель видел. Половину сразу. Остальное — в карете, наверное.

— Он сказал «не положено».

— Он много чего говорит, — проворчал Уголёк. — «Малый». «Агрессивное поведение». «Ледяные камни», — пауза. — А булку съел.

Я села на табуретку. Обхватила колени. И засмеялась — сама не знаю над чем. Над всем сразу.

* * *

Вечером мы считали.

Я и Вера. На кухне в лавке, за столом, под лампой. Передо мной — семь листов инспектора и сводка расходов. Перед Верой — чистый лист бумаги, карандаш и линейка. Линейка!

— Зачем вам линейка? — спросила я.

— Чтобы было ровно.

Она расчертила лист на колонки. Аккуратно. Ровно. «Пункт». «Исполнитель». «Стоимость минимальная». «Стоимость максимальная». «Срок». «Примечания». Переписала все двадцать три пункта. Посчитала. Сложила.

— Сто двадцать четыре кроны минимум. Сто шестьдесят одна максимум. Он посчитал правильно. Плюс штраф — одна корона, если успеем три пункта за десять дней. Плюс сырё. Плюс дрова. Плюс еда — вам надо что-то есть. Плюс одежда — вы не можете месяц ходить в Мартиных платьях.

— Могу.

— Они вам велики.

— Я их ушью.

— У вас нет ниток.

— У Марты есть.

Вера положила карандаш.

— Лидия, вам нужен план. Не «назло». План. С цифрами. Иначе вы потратите все деньги на первые пять пунктов, а потом сядете на пол посреди пекарни и будете плакать.

— Я не буду плакать.

— Вы вчера плакали. Дважды.

— Это было вчера!

Вера посмотрела на меня. Тем самым взглядом. Оценивающим.

— У вас нет денег. Совсем. Чтобы их заработать, вам надо

печь. Чтобы печь — нужна печь. Ваша — опечатана. Значит, нужна чужая, — она помолчала. — У Марты в чайной есть печь. Каменная. Без огня. На ламповых камнях. Большая. Она в ней печёт свои булочки с невымоченным изюмом.

— Вы хотите, чтобы я пекла у Марты?

— Я хочу, чтобы вы посчитали. Сколько стоит один ваш хлеб. Себестоимость. Мука, закваска, соль, тмин, время, нагрев. И за сколько его можно продать. Если разница достаточная — вы печёте у Марты, продаёте, копите. Если нет — придумываем что-то другое.

— Себестоимость, — повторила я. — Хлеба.

— Хлеба.

Я смотрела на неё. На линейку. На ровные колонки. На карандаш, заточенный идеально.

— Вы считаете хлеб, как вещь. Как будто это... табуретка. Или ваза. «Себестоимость». Хлеб — это не вещь. Хлеб — это... — я замахала руками, потому что не могла подобрать слов. — Это живое! Его делают руками! В него вкладываешь себя! Его нельзя посчитать, как...

— Можно.

— Нельзя!

— Можно, — повторила Вера спокойно. — И нужно. Иначе вы разоритесь за месяц. Вы будете печь живой хлеб, вкладывать в него себя, раздавать его всем подряд, потому что «вы же голодные», — и через месяц у вас не будет денег на муку. И не будет живого хлеба. Будет пустая пекарня, опе-

чатанная печь и долг.

Я замолчала.

Она была права. Чёрт возьми, она опять была права. Как Уголёк про противень. Как инспектор про ночнушку. Почему все вокруг были правы, а я — нет?

— Я раздавала, — сказала я тихо. — В «Семейном». Толику. Бомжу у служебного входа. Тёте Гале, хотя она меня терпеть не могла. Списанное. Просроченное. Ну, то, что не продалось. Нам велели выбрасывать. Я не выбрасывала.

— Я знаю.

— Откуда?

— Вы утром отдали инспектору шесть булочек. Ночью — накормили меня. Позавчера, в первый час, сказали Мире, что изюм надо замачивать, — Вера чуть улыбнулась. — Вы кормите людей, Лидия. Это видно. Это прекрасно. Но для этого вам нужна пекарня. А для пекарни нужны деньги. А для денег — нужно считать.

Я долго молчала.

Потом подвинула к себе её лист. Взяла карандаш.

— Мука. Сколько здесь стоит мешок муки?

Вера улыбнулась. По-настоящему.

* * *

Мы считали до полуночи.

Мука — три серебрушки за мешок в двадцать фунтов у мельника на Хлебной улице, Марта знала. Соль — медяк за фунт. Тмин — дорогой, Марта брала у травницы, сереб-

рушка за унцию. Закваска — бесплатно, Агатина. Нагрев — Марта сказала, что ламповые камни у неё заряжает Элиза раз в месяц, и что если я буду печь каждый день, то придётся заряжать чаще.

Один каравай — я считала, Вера проверяла, — выходил в серебрушку и два медяка. Продать его можно было — Марта знала цены на всей улице и во всём квартале — за две серебрушки. За две с половиной, если хлеб «как у Розы».

— Восемь медяков с каравая. Если продавать двадцать караваев в день — это шестнадцать серебрушек. Полторы кроны. За месяц — около сорока пяти. За три месяца — сто тридцать пять. Почти хватает.

— Три месяца.

— Если продавать двадцать в день. И если Марта согласится на печь. И если покупатели придут.

— Придут.

— Откуда вы знаете?

— Потому что это хлеб с тмином. Как у Розы. Марта говорит, его во дворце покупали. Через подставных лиц.

Вера посмотрела на меня. Потом засмеялась.

— Хорошо. Тогда ещё одно. Чтобы начать, вам нужны деньги на первую муку. На тмин. На заряд камней. Я посчитала — около трёх крон, — она достала из ящика стола жестяную коробку. Открыла. Отсчитала три кроны. Положила передо мной.

— Нет, — отрезала я сразу.

— Это не заём.

— Тем более нет!

— Это инвестиция. Десять процентов от прибыли. Пока не вернёте втрое.

— Пятнадцать, — сказали с подоконника.

Мы обернулись. Гортензия сидела в форточке, нахохлившись.

— Пятнадцать, — повторила она. — Мире — пятнадцать. Рыжая — чем хуже?

— Мира получает пятнадцать от оценок, — сказала Вера. — Это другое.

— Это не другое. Это дискриминация, — сорока перепрыгнула на стол. Посмотрела на три кроны. — Я бы дала больше. Если бы она мне пуговицу отдала. Третью сверху. Медную.

Я посмотрела на сороку. Потом на Веру. Потом на три кроны.

Потом встала, сходила в прихожую, вернулась с маминым пальто. Оторвала третью пуговицу сверху — она давно болталась. Положила перед Гортензией.

— Держи. Она всё равно отвалится.

Гортензия смотрела на пуговицу. Медная, тусклая, с выдавленным якорьком. Мама купила это пальто в «Детском мире» на Покровке, когда мне было десять, — себе, на распродаже, — и носила двенадцать лет.

— Это не по правилам, — сказала Гортензия. Тихо. — Я

просто так спросила. Я не думала, что отдашь.

— А я отдала. Просто так.

Сорока подцепила пуговицу клювом. Поддержала. Положила обратно. Снова подцепила.

— Десять процентов, — сказала она наконец, глядя на Веру. — Ладно. Пусть будет десять. Не жадничай, Вера.

И улетела с пуговицей.

Вера смотрела ей вслед. Потом на меня.

— Она никогда не отказывается от процентов, — сказала Вера медленно. — Никогда. За всё время, что я здесь. Она торговалась с ювелиром за пуговицу, пока он не сдался.

— Ну вот. Отказалась.

Вера подвинула ко мне три кроны.

Я взяла.

— Это временно. Пока не отдам.

— Конечно. Временно.

Мы обе знали, что это неправда. И обе сделали вид, что не знаем.

Глава 6. Хлеб с тмином

Марта согласилась раньше, чем я успела договорить.

— ...и я буду платить вам за заряд камней, и убирать за собой, и приходить только с пяти до восьми утра, пока у вас ещё нет посетителей, и...

— Да, — сказала Марта.

— ...и если вам будет мешать, я...

— Да, Лидочка. Да. Конечно, да, — Марта всплеснула руками. — Ты что, думала, я откажу? Внучке Розы? Да я сорок лет ждала, когда в этом квартале снова запахнет нормальным хлебом! Ты думаешь, мне нравится покупать у Бодена на Медной? У Бодена хлеб — как вата. Как мокрая вата. Его можно скатать в шарик и бросить в стену, и он отскочит!

— Вы проверяли?

— Тобиас проверял. Отскочил.

Тобиас, сидевший у окна с газетой, кивнул, не поднимая головы.

— Три раза, — подтвердил он.

* * *

Печь у Марты стояла за стойкой, в маленькой кухне, отделённой от зала занавеской в вишенку. Большая, каменная, с толстыми стенками и чугунной дверцей. Внутри, на поду, вместо дров лежали плоские тёмные камни — шесть штук, в ряд. Ламповые камни. Нагревательные. Их надо было стук-

нуть — каждый дважды, — и они начинали греться. Ровно, без огня, без дыма. Как ТЭНы.

Я стукнула. Камни загудели — тихо, на одной ноте, как трансформатор. Через полчаса внутри печи было двести пятьдесят градусов. Я проверила рукой — на глаз, на кожу, как учили в колледже: если можешь держать ладонь в устье до счёта «пять» — двести; до «три» — двести пятьдесят; до «один» — пора сажать.

Досчитала до трёх. Убрала руку.

— Пора, — сказала я сама себе.

Тесто я замесила накануне вечером. Двадцать караваев. На Агатиной закваске, которую я за два дня откормила до состояния буйного энтузиазма — она лезла из горшка, как каша в сказке. Мука — с Хлебной улицы, у мельника по фамилии Гро, которого Марта называла «единственным честным мельником в Лавье, потому что слишком толстый, чтобы бегать от налоговой». Соль. Вода. Тмин — у травницы госпожи Ивер, которая жила через квартал и, по словам Марты, «знает про травы всё, а про людей — ещё больше».

Двадцать караваев расстаивались всю ночь. В корзинках, под полотенцами, на длинной лавке вдоль стены Мартиной кухни. Я проверяла их дважды — в час ночи и в три. Я не спала. Я никогда не сплю перед первой выпечкой на новом месте. Это как первый день в школе.

В пять утра я пришла в чайную. Марта уже не спала — она, кажется, вообще не спала, никогда, — и встретила меня

с чаем и с рыжим котом на руках.

Кот был огромный. Не толстый — огромный. Как подушка. Как небольшая собака. Рыжий, полосатый, с белой манишкой и белыми носочками на всех четырёх лапах. Морда — широкая, наглая, с порванным левым ухом. Глаза — жёлтые, круглые, в которых читалось глубокое презрение ко всему человечеству и отдельно — ко мне.

— Апельсин, — представила Марта. — Это Лидочка. Ты будешь у неё работать.

Апельсин посмотрел на меня. Потом на Марту. Потом снова на меня. Медленно, с достоинством зевнул, показав клыки, как у небольшого тигра.

— Он не согласен.

— Он всегда не согласен, — сказала Марта. — Он и со мной не согласен. Двенадцать лет. Ну и что. Мышей ловит. Тебе ловить будет. В аренду, — она подумала. — За сливки. Он любит сливки. Миску в день.

— Инспектор написал «кот (рекомендуется)».

— Вот. Рекомендуется. Значит, Апельсин.

Апельсин спрыгнул с её рук на пол, тяжело, как мешок с мукой. Прошёл мимо меня — не глядя, задрав хвост трубой. Остановился у занавески в вишенку. Обернулся. Посмотрел через плечо.

«Ну? — говорил его взгляд. — Где тут твои мыши?»

* * *

Я сажала хлеб на лопате.

На своей. На бабушкиной — длинной, тяжёлой, с отполированной ручкой. Я взяла её с собой из лавки. Не знаю зачем. Можно было взять Мартину — короткую, лёгкую, удобную. Но я взяла Терезину. Она лежала в руках так, как будто её делали под мою ладонь. Двести лет назад. Под чужую ладонь — Терезы Ферн. А теперь — под мою.

Камни в печи гудели. Без огня. Я подходила к дверце спокойно. Совсем спокойно. Руки не дрожали. Сердце не прыгало в горле. Это была просто печь — как в «Семейном», как в колледже, как везде. Горячий ящик. Без огня.

Я посадила двадцать караваев за сорок минут. По пять на заход, четыре захода. Работала молча, ровно, быстро, как на смене: перевернуть корзинку на лопату, надрезать ножом крест-накрест, посыпать тмином, сбрызнуть водой из пульверизатора — пульверизатора не было, и я сбрызгивала рукой, как бабушки в деревне, — и в печь.

Марта стояла у занавески и смотрела. Молча. Что для Марты, как я уже поняла, было высшей степенью уважения.

Когда я вынула первые пять караваев, она подошла.

Хлеб был красивый. Румяный, с тёмной корочкой, с трещинами по надрезам — правильными, раскрывшимися, как цветок. Тмин на корочке чуть подгорел. Пахло на всю кухню.

Марта взяла один. Подержала. Постучала по донышку — костяшкой пальца, как стучат по арбузу. Звук был гулкий, пустой, правильный.

— Ну, — протянула Марта.

Она отломила горбушку. Понюхала. Откусила.

Жевала долго. Закрыв глаза.

Я стояла с лопатой в руках и ждала.

— Почти, — сказала Марта наконец. Открыла глаза. —

Почти, Лидочка. Почти как у Розы, — она помолчала. — Но не то.

Я опустила лопату.

— Чего не хватает? — спросила я. — Скажите. Пожалуйста. Я восемь лет не могу понять. Я тмин меняла. Муку меняла. Закваску меняла. Время расстойки. Температуру. Всё. И всё равно — «почти».

Марта посмотрела на меня. Долго. Как Вера смотрит, когда оценивает.

— Огня. Живого. Роза пекла на дровах. И с ним — с Угольком. Он внутри сидел, когда она пекла. И хлеб — он... — Марта поискала слово. — Он его помнил. Понимаешь? Не камень грел, а живое. Огонь, который знал, для кого печёт, — она покачала головой. — Я сама так не умею. Я на камнях пеку. Сорок лет. И мои булочки — хорошие булочки. Но они не такие. И никогда не будут.

Я посмотрела на хлеб. Красивый, румяный, пахнущий тмином. «Почти».

— Значит, пока будет «почти».

— Пока будет «почти», — согласилась Марта. — А «почти как у Розы» — это всё равно лучше, чем у Бодена. Намного лучше. Бодена можно в стену кидать.

* * *

В восемь утра я открыла окно.

Не дверь — окно. Чайная Марты открывалась в десять, и я не хотела мешать. Поэтому мы договорились: я буду продавать через окно кухни. Оно выходило прямо на улицу, низкое, широкое, с деревянным подоконником. На подоконник я поставила корзинку с караваем. Рядом — жестяную коробку для денег, которую дала Вера. И табличку — Мира написала её вечером, мелом, на куске грифельной доски:

«ХЛЕБ С ТМИНОМ. КАК У РОЗЫ. ПОЧТИ.

2 серебряшки».

— «Почти»? — спросила я, когда увидела.

— Вы же сами сказали, — пожалала плечами Мира. — «Почти». Я записала. Честно же.

— Честно, — согласилась я.

Я встала за подоконник, в Мартином платье в цветочек, в фартуке «Семейный — всегда свежее!», в косынке в горошек. Положила руки на подоконник. Посмотрела на улицу.

Улица была пустая.

Снег. Три луны в бледном небе. Лавка Веры напротив — тёмная, ещё закрытая. Мастерская Элизы — с дымком из трубы. Контора Дарии — закрытая, с табличкой «Приём с девяти до пяти». Пекарня — моя пекарня — с заколоченными ставнями и опечатанной печью.

Никого.

Я стояла и ждала. Пять минут. Десять. Пятнадцать.

Двадцать караваяев остывали в корзинке, и пар от них поднимался в морозный воздух белыми струйками.

— Они не придут, — я тяжело вздохнула.

— Придут, — не согласилась со мной Марта у меня за спиной.

— Здесь никого нет! Это улица, которой нет! Сюда никто не ходит!

— Сюда ходят те, кому надо. Улица пропускает тех, кому нужно. Подожди.

Я ждала.

В восемь двадцать под аркой появился человек.

Сначала я даже не поняла, что это человек. Просто — тень на снегу. Потом тень стала больше, ближе, и я разглядела: женщина. Немолодая. Полная. В тёмном пальто и шерстяном платке. С корзинкой в руке — плетёной, бельевой.

Она шла по улице медленно, оглядываясь. Как будто не очень понимала, куда идёт. Потом остановилась. Посреди улицы. Подняла голову.

И понюхала воздух.

Я видела это. Видела, как она закрыла глаза. Как раздулись её ноздри. Как лицо — усталое, обветренное, с глубокими морщинами у рта — вдруг разгладилось.

Она повернулась на запах. Как подсолнух.

Как я позавчера.

— Сюзанна, — сказала Марта у меня за плечом. Тихо. — Сюзанна Ланж. С Кожевенной. Прачка.

Женщина подошла к окну. Остановилась. Посмотрела на корзинку с хлебом. На табличку Миры. На меня.

— Это, — сказала она. Голос у неё был хриплый, простуженный. — Это... с тмином?

— С тмином.

— Как у Розы? Мама говорила — у Розы с тмином.

— Почти, — честно ответила я.

Женщина смотрела на хлеб. Потом на меня. Потом снова на хлеб.

— Мама моя, — сказала она. — В девках каждое воскресенье сюда бегала. На улицу. За хлебом. К Кларе Ферн, потом к Розе. Мама говорила — у Ферн хлеб такой, что его есть не надо, его нюхать можно. Я этот запах всю жизнь по её рассказам знала. А сама ни разу не нюхала, — она замолчала. — Я сегодня шла с бельём. На Кожевенную. Как всегда. Через Медную. И вдруг... запахло. Как мама рассказывала. Я и не поняла, как сюда свернула.

Я молча завернула в бумагу каравай. Самый красивый. С самой правильной трещиной. Протянула ей.

Она полезла в карман — за деньгами. Достала две серебряшки. Положила на подоконник.

— Вы, — сказала она, глядя на меня. — Вы же... Вы внучка? Розы?

— Внучка.

Сюзанна Ланж смотрела на меня долго. Потом прижала каравай к груди — как прижимают ребёнка.

— Мама говорила, Роза рыжая была. И круглая. И смеялась громко, — она улыбнулась. — Похожа.

И ушла. Медленно. Оглядываясь. Прижимая хлеб к груди. Я смотрела ей вслед.

— Первая, — сказала Марта.

— Первая, — повторила я.

* * *

Вторым пришёл бакалейщик Пьер. Тот самый, у которого Вера покупала кофе. Маленький, лысый, в клетчатом жилете. Он пришёл, как сказал, «случайно, мимо проходил», купил два каравай и спросил, не продам ли я ему ещё десять — на перепродажу. По три серебрушки.

— По три? — переспросила я. — Вы же их по три продаете. Где ваша выгода?

— Я их по четыре продам, — сказал Пьер. — Как «хлеб с улицы Трёх Лун, по рецепту Розы Ферн». У меня на Королевской набережной есть клиенты, которые за такое и по пять заплатят.

Я посмотрела на Марту. Марта пожала плечами.

— По три. Но не десять. Пять. Остальное — для своих.

Пьер подумал. Потом кивнул.

— Пять, — согласился он. — И завтра — снова пять. И послезавтра. Договорились?

— Договорились.

Третьей пришла Элиза. В рабочем фартуке, с отвёрткой за ухом. Купила один каравай, разломала его прямо у окна,

съела половину и сказала, что «лучше, чем завтрак, которого не было». Четвёртым — Тобиас, хотя он мог бы и в кухне взять. Пятой — Дария Вель, ровно в девять, по дороге в контору. Купила один каравай, расплатилась точно, без сдачи, и сказала, что это «приемлемо». Марта потом объяснила, что от Дарии «приемлемо» — это всё равно что от другого человека «божественно».

Потом пошли незнакомые.

Женщина с ребёнком — девочка лет шести, в красной шапке, сразу потребовала «горбушку». Двое мужчин в рабочих куртках, с кирпичной пылью на рукавах. Старик с палкой. Девушка в шляпке, которая спросила, нет ли у меня «чего-нибудь сладкого». Чего-нибудь сладкого у меня не было. Я пообещала, что завтра будет.

— Откуда они? — спросила я Марту шёпотом, между покупателями. — Откуда они все? Это же улица, которой нет!

— Им нужно. Хлеб нужно. Всем нужно. Хлеб — это... — она подумала. — Это не вещь, Лидочка. Вере вещи нужны были, она вещами торгует. Вот к ней и шли те, кто потерял. А тебе — хлеб. К тебе пойдут все, кто голодный. А голодные — все.

К половине десятого корзинка опустела.

Двадцать караваев. Пять — Пьеру по три серебрушки. Пятнадцать — по две. Минус три, которые я отдала: один Сюзанне сверху, потому что она вернулась и сказала, что у неё дома ещё сестра, и сестра тоже всю жизнь слушала мамин-

ны рассказы про Розу; один девочке в красной шапке, просто так, горбушкой; один — старику с палкой, который долго считал медяки у окна, и насчитал на полкаравая, и смотрел на хлеб так, что я не выдержала.

— Лидия, — обратилась ко мне Вера, когда вечером я высыпала из жестяной коробки деньги на её кухонный стол.

— Вы раздали три каравая.

— Два с половиной, — поправила я. — Старик дал медяки.

— Это шесть серебрушек. Почти шесть. Ваша дневная прибыль — меньше, чем стоимость того, что вы раздали.

— Я знаю.

— Мы договорились считать.

— Я считала! — я развела руками. — Я посчитала, что у него медяков на полкаравая. А хлеб на полкаравая не режется. Он бы раскрошился. Это неэкономично.

Вера смотрела на меня. Долго. Потом вздохнула.

— Лидия, вы — катастрофа.

— Я знаю. Но вкусная.

Вера не выдержала и засмеялась.

* * *

Днём, после продажи, я пошла в пекарню. Убираться.

Пункт пять: «Полная уборка, побелка стен цеха, замена испорченного сырья. Избавление от грызунов».

Апельсин шёл за мной. Не рядом — за мной. На три шага позади. Задрав хвост. С видом кота, который делает чело-

вечеству огромное одолжение, о котором человечество ещё пожалеет.

Я открыла дверь пекарни. Апельсин вошёл первым. Остановился посреди лавки. Понюхал воздух. Шерсть у него на загривке встала дыбом.

— Мыши. Там. Много. Двадцать лет плодились.

Апельсин посмотрел на меня через плечо. «Двадцать лет», — сказал его взгляд с глубоким удовлетворением. И исчез в цеху.

Через секунду оттуда донёсся писк. Потом грохот. Потом снова писк. Потом шорох, топот, звон упавшей формы, ещё писк — и тишина.

И голос. Из-за заслонки. Хриплый, недовольный, с потрескиванием.

— Это ещё кто?

Я подошла к двери цеха. Апельсин сидел посреди пола, на серой корке старой муки, с мышью в зубах. Перед ним, у печи, — опечатанная заслонка. Из щели под ней пробивался тусклый красный свет.

— Это Апельсин. Кот. Марты. В аренду. Пункт пять.

— Кот, — повторил Уголёк. Тонем, которым говорят «таракан». — Ты привела в мою пекарню кота.

— Пункт пять. «Кот (рекомендуется)».

— Кем рекомендуется?

— Инспектором.

— Ну конечно, — сказал Уголёк. С отвращением. — По-

жарный рекомендует. Кота. Ты знаешь, что коты делают с печами? Они на них спят! Они на них лезут! Они на них — тыфу! — линяют! Шерсть! В моей печи! Рыжая!

Апельсин положил мышь. Подошёл к заслонке. Сел. Понюхал щель, откуда шёл свет и тепло.

И лёг.

Прямо у заслонки. Вплотную. Растянулся на тёплом кирпичном полу перед устьем, как на печке у бабушки в деревне. Закрыв глаза. И замурлыкал. Громко, раскатисто, как трактор на холостом ходу.

За заслонкой наступила тишина.

— Он лёг, — сказал Уголёк. Тихо. Растерянно.

— Лёг, — согласилась я.

— Он... урчит.

— Урчит.

— Об мою заслонку.

— Да.

Тишина. Долгая. Апельсин урчал.

— Тёплый, — сказал Уголёк наконец. Очень тихо. Совсем другим голосом. — Он тёплый. Как... как живой.

— Он живой.

— Я знаю, что живой! — огрызнулся Уголёк. Потом снова замолчал. — Двадцать лет, рыжая. Двадцать лет никто не лежал у моей печи. Роза лежала. Иногда. Когда уставала. Сиделась вот так, спиной к печи, и засыпала. Сидя. А я её грел, — пауза. — А потом двадцать лет — никого.

Я ничего не сказала.

Апельсин урчал.

— Ладно, — сказал Уголёк. Ворчливо. — Пусть лежит.

Но если хоть одна шерстинка... хоть одна...

— Я буду подметать, — пообещала я.

— Дважды в день.

— Дважды в день.

— И чтобы мышей ловил. Тут их полно. Они у меня по своду бегали. Двадцать лет. Я их считал. Тоже. Сто сорок семь штук в последний раз. Это которых видел.

Апельсин открыл один глаз. Жёлтый. Довольный. И снова закрыл.

«Сто сорок семь, — говорил этот глаз. — Вызов принят».

* * *

Гортензия пришла после обеда.

Я как раз белила стены цеха — Марта дала известь, Тобиас дал ведро, Элиза дала кисть, «старую, которую не жалко, она уже была в масле, в краске и в одном экспериментальном растворе, который, кажется, был кислотой». Кисть облезла с одного боку, но белила.

Сорока влетела через дверь, которую я оставила открытой — проветривать. Сделала круг под потолком. Посмотрела на Апельсина, спящего у заслонки. На меня, с кистью, в извести по локти. На печь.

И села на край дубового стола. Прямо напротив заслонки.

— Ну, здравствуй, головешка.

За заслонкой полыхнуло.

— Щипаная, — огрызнулся Уголёк.

— Головешка.

— Щипаная.

— Тлеющая.

— Бесхвостая!

— У меня есть хвост!

— Без двух перьев! — Уголёк явно наслаждался. — Где перья, щипаная? Опять подралась с кем-то? Опять проиграла?

— Я выиграла! — Гортензия распушилась вдвое. — Оба раза. Одного — в лавке, ночью, с табуреткой! Другого — на Чёрную Луну, на голове у секретаря! Это боевые потери! Почётные!

— Почётные, — фыркнул Уголёк. — Сорока. Дерётся. С секретарями. Позор.

— А ты двадцать лет спал в холодной печи и считал кирпичи!

— Я держал огонь!

— Ты спал!

— Я держал огонь, а потом спал! Это разное!

Я стояла с кистью, с которой капала известь, и смотрела на них. Сорока на столе — распушённая, с горящими глазами. Заслонка — с полыхающей щелью, из которой вырывались искры. Кот у заслонки — проснувшийся, приоткрывший глаз, смотрящий на сороку с глубоким профессиональ-

ным интересом.

— Вы знакомы? — спросила я.

— Сто двадцать лет, — сказала Гортензия.

— Сто двадцать лет, — сказал Уголёк одновременно.

— Она у меня корочки воровала, — добавил Уголёк. — Сто двадцать лет. Прилетала, когда Роза... когда Клара... когда все пекли, — и воровала. С подоконника. С противня. Из рта у меня однажды!

— Ты не ел! — возмутилась Гортензия. — Ты держал! Во рту! Целую минуту! Это не еда, это хранение! Я старший оценщик, я знаю разницу!

— Ты воровка!

— Я ценитель!

Они кричали друг на друга ещё минут пять. Я перестала белить и села на перевёрнутое ведро. Апельсин, поняв, что сорока не собирается слезать со стола, разочарованно зевнул и снова закрыл глаза.

Наконец Гортензия выдохлась. Нахохлилась. Помолчала.

Потом вдруг прыгнула со стола, подошла к заслонке — Апельсин приоткрыл глаз, но не двинулся, — и сунула что-то в щель под сургучной печатью. Что-то маленькое, тёмное, хрустящее.

— Держи, — сказала она. Буркнула, глядя в сторону. — Корочка. С тмином. Рыжая сегодня пекла. У Марты. Я с подоконника взяла. Пока никто не смотрел.

За заслонкой наступила тишина.

Потом — хруст.

— С тмином, — сказал Уголёк. Медленно. — Почти как у Розы.

— Почти, — согласилась Гортензия.

— Не то, — сказал Уголёк.

— Не то, — согласилась Гортензия. — Без тебя не то. Тишина.

— Спасибо, щипаная, — сказал Уголёк тихо.

— Не за что, головешка.

Сорока развернулась и улетела. Через дверь. Не оглядываясь.

Я сидела на ведре, с кистью в руке, и у меня почему-то щипало в носу. Наверное, от извести.

* * *

В четверг вечером я поехала в Палату.

Не поехала — пошла. Пешком. Через весь город, по снегу, в Мартином пальто — своё мамино я не надела, потому что на нём не хватало пуговицы, и я стеснялась. Мира нарисовала мне карту. Вера дала денег на извозчика. Я не взяла извозчика. Я хотела пройти. Посмотреть на город.

Лавье был... Я не знаю, как описать Лавье. Он был похож на всё сразу — на Таллин, на Прагу, на Нижний, на старые открытки. Узкие улицы, мощёные булыжником. Дома в три-четыре этажа, с черепичными крышами, с резными балконами. Фонари — тёплые, жёлтые, живые. Вывески — над каждой дверью, и на каждой — картинка: сапог, ножницы, круж-

ка пива, ключ. Люди — в пальто, в плащах, в шляпах, в платках. Кареты. Лошади. Снег, который скрипел под ногами.

И запахи. Запахи были везде. Жареные каштаны на углу. Горячее вино с корицей из какого-то трактира. Дым — не печной, а сладкий, яблочный, из трубки старика на скамейке. Свежий хлеб — я принялась — из пекарни на углу Медной. Боден. Я узнала: пахло дрожжами и разрыхлителем, и чуть-чуть подгоревшим сахаром. Вата.

Палата огненного надзора стояла на Мостовой площади. Большое серое здание, с колоннами, с медным языком пламени над входом. Окна второго этажа светились. На двери — табличка: «Курс безопасного обращения с огненными объектами. Аудитория 4. Вход со двора».

Я вошла со двора.

Аудитория номер четыре оказалась длинной комнатой с низким потолком, с рядами деревянных скамеек и с учебной печью в конце. Маленькой, кирпичной, с железной дверцей. Рядом с печью — кафедра. За кафедрой — никого.

На скамейках сидели люди. Шестеро. Огромный бородастый мужчина в кожаном фартуке — кузнец, наверное. Худая нервная женщина, которая всё время теребила шарф. Двое молодых парней, похожих на братьев. Старичок в очках. И пожилая дама в шляпке с вуалью, у которой на коленях, на шёлковой подушечке, сидела ящерица. Маленькая, оранжевая, светящаяся. Огненная.

Я села на последнюю скамейку.

Дама в шляпке обернулась. Посмотрела на меня через вуаль.

— Вы новенькая? — спросила она приветливо.

— Да.

— У вас кто?

— В смысле?

— Существо. У вас какое существо? — дама погладила ящерицу. Ящерица зажмурилась и выпустила тонкую струйку дыма. — У меня Фифи. Саламандра. Малая. Класс пятый, комнатный. Мы уже третий раз курс проходим. Фифи всё никак экзамен не сдаст. Ей не нравится гашение.

— У меня... — я помедлила. — У меня дракон.

В аудитории стало тихо. Все шестеро обернулись. Даже кузнец.

— Дракон? — переспросила дама.

— По его словам. Официально — малый огненный элементаль. Класс четвёртый. Стационарный.

— А, — сказала дама с облегчением. — Ну, это ничего. Это бывает. Фифи вот тоже считает себя фениксом.

Фифи на подушечке гордо выпятила грудь.

Дверь в конце аудитории открылась. Вошёл инспектор Ренар.

Без пальто. В сером форменном сюртуке, застёгнутом на все пуговицы. Со стопкой бумаг под мышкой. Прошёл к кафедре. Положил бумаги. Обвёл аудиторию взглядом.

На мне его взгляд задержался. На полсекунды. Не больше.

— Добрый вечер, — сказал он. — Занятие первое. Тема: природа огня. Вводная часть.

И начал.

* * *

Это было самое скучное и самое интересное занятие в моей жизни.

Скучное — потому что он читал, как читают по бумажке: ровно, монотонно, без пауз и интонаций. Огонь — это то-то. Огонь бывает такой-то. Огонь делится на классы. Огненные существа делятся на виды. Таблица. Схема. Определение.

Интересное — потому что под всем этим, под таблицами и определениями, было что-то ещё. Я не сразу это поймала. А потом поймала — когда он сказал:

— Огонь не нападает.

Я подняла голову.

— Огонь не нападает, — повторил инспектор Ренар, глядя куда-то поверх наших голов. — Это распространённое заблуждение. Огонь не хищник. У него нет намерения. Огонь — это ответ. Он отвечает на то, что ему дают. Сухое дерево — он горит. Сырое — глест. Масло — вспыхивает. Небрежность — разрушает, — он помолчал. — Каждый пожар, который я расследовал за одиннадцать лет, был ответом. На неправильный контур. На брошенную свечу. На дешёвый несертифицированный грелочный камень, — на последних словах его голос стал чуть тише. Совсем чуть-чуть. — Огонь не виноват. Виноват тот, кто ему ответил неправильно.

Он посмотрел на аудиторию.

— Ваша задача — научиться отвечать правильно.

Кузнец кивнул. Нервная женщина перестала теребить шарф. Фифи на подушечке выпустила колечко дыма.

А я сидела на последней скамейке и думала о синем огне.

«Огонь — это ответ».

На что ответил синий огонь двадцать лет назад?

* * *

В конце занятия была практика.

Инспектор раздал всем по коробку спичек. Обычных. Деревянных, с красными головками.

— Задание. Зажечь одну спичку. Держать её, пока она не догорит до середины. Погасить. Двумя пальцами. Не дуть.

Кузнец зажёл свою спичку с одного раза и погасил двумя пальцами, даже не поморщившись. Старичок — со второго. Братья — один с первого, другой с третьего, потому что первые две сломал. Нервная женщина — с пятого, зажмурившись. Дама в шляпке не стала зажигать — она поднесла спичку к Фифи, и Фифи зажгла её сама, чихнув.

Я держала коробок в руке и не могла открыть.

Руки тряслись. Пальцы не слушались. Я смотрела на коробок — обычный, картонный, с нарисованным на нём языком пламени, — и видела синий огонь. Видела маму в ночной рубашке. Видела чёрное нутро печи и оранжевые глаза.

Остальные уже складывали вещи. Расходились. Кузнец ушёл первым, кивнув инспектору. За ним — братья. Стари-

чок. Нервная женщина. Дама с Фифи — последней, на прощание сказав мне через вуаль: «Ничего, милочка. Мы с Фифи тоже не с первого раза».

Я сидела одна на последней скамейке, с закрытым коробком.

Инспектор Ренар собирал бумаги на кафедре. Не торопясь. Аккуратно. Стопка к стопке.

Потом он поднял голову. Посмотрел на меня.

— Сударыня Ферн, занятие окончено.

— Я знаю. Я... я сейчас уйду.

Я не ушла. Я сидела и смотрела на коробок.

Инспектор помолчал. Потом вышел из-за кафедры. Медленно прошёл через аудиторию. Остановился у моей скамейки. Не сел — остался стоять, в двух шагах.

— Вы не открыли коробок.

— Не открыла.

— Почему?

— Потому что внутри спички.

Он помолчал.

— Это логично.

Я засмеялась. Нервно, сквозь сжатое горло.

— Я не могу. Простите. Я правда не могу. Я в первом классе разревелась, когда учительница зажгла свечку. Мне было семь. Я выбежала из класса и спряталась в туалете. Меня искали два часа, — я сжала коробок в кулаке. — Мне двадцать пять. И я не могу открыть коробок спичек.

Инспектор Ренар смотрел на меня сверху вниз. Светлые глаза. Неподвижное лицо.

Потом он сел. На скамейку впереди, боком, лицом ко мне. На расстоянии вытянутой руки.

— Дайте.

Я протянула ему коробок.

Он открыл его. Достал одну спичку. Закрыв коробок. Положил спичку на скамейку между нами — на деревянную доску, рядом с моей рукой.

— Это спичка. Деревянная. Осиновая. Головка — смесь бертолетовой соли, серы и клея. Сама по себе она безопасна. Её можно взять в руку. Можно сломать. Можно бросить в снег. Она ничего не сделает.

Я смотрела на спичку.

— Возьмите её, — сказал он.

Я взяла. Пальцы дрожали. Спичка дрожала вместе с ними.

— Хорошо. Теперь просто держите.

Я держала.

Мы сидели в пустой аудитории, под тусклым светом ламповых камней, — он на одной скамейке, я на другой, — и я держала незажжённую спичку. Минуту. Две. Пять.

Руки постепенно перестали дрожать.

— Это коробок, — сказал инспектор Ренар и положил коробок рядом со спичкой. — Боковая сторона — тёрка. Красный фосфор, толчёное стекло, клей. Спичка загорается от трения головки о тёрку. Не сама. Только если вы её чиркне-

те. Только если захотите.

— А если я не захочу?

— Тогда она не загорится, — сказал он просто. — Огонь не приходит сам, сударыня Ферн. Его зовут. Всегда.

Я посмотрела на него.

— Всегда?

Он помолчал.

— Почти всегда, — сказал он. И я поняла — по тому, как он это сказал, по тому, как чуть дрогнула его правая рука, та, что со шрамом, — что был в его жизни раз, когда огонь пришёл без спроса. И что он об этом помнит. Каждый день.

Я взяла коробок.

— Если я чиркну, — сказала я. — А она загорится, а я испугаюсь...

— Я рядом. Я её погашу.

— Двумя пальцами?

— Двумя пальцами.

Я посмотрела на его руку. Правую. Со шрамом.

Потом — на спичку.

Потом — чиркнула.

Спичка вспыхнула. С тихим шипением, с запахом серы, с маленьким жёлтым пламенем на конце. Огонь. Живой. В моей руке. В двадцати сантиметрах от моего лица.

Я не закричала. Я не выронила спичку. Я сидела, не дыша, и смотрела на огонёк, который дрожал на конце осиновой палочки, — маленький, тёплый, жёлтый, совсем не синий.

Он горел. Тихо. Спокойно. Отвечал на то, что ему дали: на осиновую палочку, на серу, на воздух.

Не нападал.

Огонёк дополз до середины спички. Я почувствовала жар на кончиках пальцев.

— Погасите, — сказал инспектор Ренар. Тихо. — Двумя пальцами. Быстро. Не бойтесь.

Я не смогла.

Он протянул руку — правую, со шрамом, — и погасил. Двумя пальцами. Коротко, точно, как будто снимал нитку с рукава.

Огонёк исчез. Остался дымок, тонкий, пахнувший серой. И обугленная палочка в моей руке.

Я смотрела на неё.

— Я зажгла, — сказала я. Шёпотом.

— Вы зажгли, — согласился инспектор.

— Я зажгла спичку. Сама. В первый раз в жизни.

— Верно, — произнес он.

Я подняла голову. Посмотрела на него. Глаза у меня были мокрые — я не заметила, когда.

Он смотрел на меня. Ровно. Спокойно. Без всякого выражения на лице.

Только глаза — я увидела, я точно увидела, в тусклом свете ламповых камней, — глаза у него были не ледяные. Совсем не ледяные. Тёплые. Как вода, когда в неё опускаешь руку после мороза, и она кажется горячей, хотя она просто

— не холодная.

— Следующее занятие — во вторник, — сказал он и встал. — Тема: классификация огненных существ. Принесите коробок. Этот можете оставить себе.

Он пошёл к кафедре. Забрал бумаги. Пошёл к двери.

— Инспектор, — позвала я.

Он остановился.

— Спасибо.

Он помолчал. Не обернулся.

— Это моя работа, сударыня Ферн.

И вышел.

Я сидела в пустой аудитории. С обгоревшей спичкой в одной руке и коробком в другой.

Потом я положила спичку в коробок. Обгоревшую. Аккуратно, к остальным, головкой вниз. И спрятала коробок в карман Мартинового пальто.

Я его до сих пор храню. Ту спичку. Первую.

Не продаётся.

Глава 7. Контур

— Ну, — произнесла Элиза Рон, вылезая из печи задом вперёд. — Это катастрофа.

Она вылезла вся — сначала ноги в рабочих ботинках, потом юбка, подоткнутая за пояс, потом спина в фартуке, потом кудрявая голова, повязанная платком. Платок был в саже. Лицо было в саже. Руки — по локоть в саже. На щеке, поверх сажи, сияло неизменное масляное пятно, которое, как я уже начинала подозревать, у Элизы было врождённым.

— Насколько катастрофа? — спросила я.

— По шкале от одного до десяти? — Элиза села на пол, прислонившись спиной к печи, и вытерла лоб тыльной стороной ладони, отчего сажи на лбу стало больше. — Двенадцать.

— Двенадцать?

— Ну, может, одиннадцать, — она подумала. — Нет, двенадцать.

Мы были в цеху пекарни. Утро, десять часов — хлеб я уже испекла у Марты и продала через окно, все двадцать пять караваев, на этот раз почти ничего не раздав, — всего полтора, Вера будет мной довольна. Печь была распечатана. Не совсем — инспектор Ренар прислал вчера с курьером бумагу: «Разрешается временное снятие печати для проведения ремонтных и диагностических работ лицензированным масте-

ром. По окончании работ печатать восстанавливается. Огонь в печи не разводить. Л. Р.».

Огонь в печи не разводили. Уголёк сидел на дубовом столе, свернувшись кольцом вокруг пустой формы для хлеба, — тусклый, мрачный, светящийся едва-едва, как угли в остывающем мангале. Ему было скучно. Он сказал, что двадцать лет сидел в печи без дела и сейчас готов сидеть где угодно, лишь бы не в печи без дела.

Апельсин лежал у его хвоста. Вплотную. Урчал.

Уголёк делал вид, что не замечает.

— Объясни, — сказала я Элизе. — Только медленно. Я пекарь, а не артефактор.

Элиза кивнула. Достала из кармана фартука огрызок мела. Начертила на полу круг.

— Это печь. Огненный объект. Внутри — огонь, — она нарисовала внутри круга спиральку. — Огонь горит, тепло идёт наружу. Если ничего не делать, тепло идёт куда попало. В стены, в пол, в потолок, в соседний дом. Понятно?

— Понятно.

— Контур — это вот, — Элиза обвела круг ещё одним кругом, побольше. Потом соединила их радиальными линиями — как спицы в колесе. — Это сеть. Из лунного серебра, медной проволоки и рунных камней. Она держит тепло внутри. Не даёт ему расползаться. Если огонь становится слишком горячим — контур забирает лишнее и отдаёт обратно в землю. Если слишком холодным — подкачивает. Понятно?

— Как терморегулятор.

— Как что?

— Ну... — я замялась. — У нас так называется. Штука, которая держит температуру.

— А, — Элиза кивнула. — Да. Только умнее. Терморегулятор — я так понимаю — меряет. А контур — чувствует, — она постучала мелом по внешнему кругу. — Вот этот контур ставил мастер Валль. Шестьдесят лет назад. Я запросила схемы — Гильдия прислала вчера вечером. Мастерница Лорен лично, с запиской: «Валль был гений. Не испортить».

— И?

Элиза вздохнула.

— Валль был гений. Это правда. Схема — просто песня. Я над ней полночи сидела, плакала от восторга. Тройное кольцо, с перекрёстной обратной связью, с резервным контуром на случай, если основной выйдет из строя. Я такого никогда не видала. Его, наверное, можно было бы поставить на королевский дворец — и дворец бы не сгорел даже во время войны, — она помолчала. — Только его нет.

— Кого нет?

— Контура, — Элиза постучала мелом по полу, по нарисованному внешнему кругу. — Его нет, Лидия. Совсем. Ну, то есть — что-то есть. Медь осталась. Камни остались, некоторые. Но лунного серебра — нет. Ни грамма. Все серебряные нити, которые Валль протянул по своду, по стенкам, по поду, — их нет. Вынуты.

Я смотрела на неё.

— Вынуты?

— Вынуты, — повторила Элиза. — Аккуратно. Профессионально. Нить за нитью. Я видела пазы — они пустые. Как будто кто-то пришёл с пинцетом и... — она сделала движение пальцами, как будто выдёргивает нитку. — Вытащил.

— Это могло случиться при пожаре? Серебро... расплавилось?

— Лунное серебро не плавится при пожаре. Оно для того и нужно. Оно плавится только от лунного света, и то не всякого, — она покачала головой. — Нет. Его вытащили. Руками. До пожара или после — не знаю. Но вытащили.

За моей спиной, на столе, Уголёк поднял голову.

— Я не видел, — сказал он глухо. — Я спал. Двадцать лет.

— А до пожара? — спросила Элиза. — Ты же был в печи. Ты бы почувствовал, если бы кто-то вынимал контур?

Уголёк долго молчал.

— Не знаю, — сказал он наконец. — Может, почувствовал бы. Может, нет. Контур — он как... как кожа. Ты чувствуешь, когда тебя трогают. Но если тебя трогают каждый день понемногу — ты привыкаешь. Не замечаешь, — он помолчал. — Роза жаловалась последний год. Что печь «не держит». Что жар скачет. Она думала — старость. Печи стареют.

Элиза посмотрела на меня. Я посмотрела на Элизу.

— Синее пламя, — сказала я тихо. — Марта говорила, пламя было синее.

— Если контура нет, — медленно сказала Элиза, — а огонь горячий... огонь может сменить цвет. Это бывает. Когда тепло не уходит в землю и копится. Огонь становится... злой. Синий. Горячее обычного вдвое, — она замолчала. — Но для этого нужно, чтобы контура не было совсем. А он был — Розе же печь работала. Значит, его вынимали не сразу. Постепенно. Год. Может, два.

— Кто? — спросила я.

Элиза развела руками. Мел крошился у неё в пальцах.

— Не знаю, Лидия. Это двадцать лет назад было. Я тогда шести лет была. Отец... — она запнулась. — Отец, может, знал бы. Он тогда как раз из Гильдии ушёл. Его выгнали. Он мог бы заметить. Но он не заметил. Или заметил и не сказал, — она снова вздохнула. — Его не спросишь.

* * *

Мы сидели на полу, рядом с меловым кругом, и молчали.

Апельсин урчал. Уголёк смотрел в стену. Свет из щелей в ставнях лежал на полу золотыми полосками.

— Ладно, — сказала наконец Элиза и встала, отряхивая юбку от саж. Сажа не отряхнулась. — Это потом. Это я Адриану расскажу. Пусть его Отдел разбирается. А сейчас — контур. Он тебе нужен. Пункт два. Без него — никакого разрешения.

— Сколько? — спросила я. Обречённо.

Элиза подумала.

— Медь у меня есть. Рунные камни — восемь из две-

надцати целые, четыре заменить. Это две кроны. Работа — моя, бесплатно, за хлеб, — она загнула пальцы. — Лунное серебро. Вот это дорого. Валль ставил по двенадцать граммов на каждое кольцо. Три кольца. Тридцать шесть граммов. Лунное серебро сейчас — восемь серебрушек за грамм.

Я быстро посчитала в уме.

— Двадцать девять крон.

— Почти, — кивнула Элиза. — Двадцать восемь и восемь серебрушек. И ещё одна штука, — она замялась. — Саламандров камень. Сердце контура. Он в центре, под подом. Он тоже исчез. Без него контур не заработает.

— Сколько?

— Двенадцать крон. Если повезёт — десять. На Ветошном рынке, в Огненном ряду, иногда продают. Подержанные. Надо смотреть, чтобы не треснутые.

— Сорок крон. Только контур. Сорок крон.

— Около, — призналась Элиза виновато.

Я посмотрела на свою жестяную коробку, которая лежала на прилавке. В ней было — я считала утром — четыре кроны шесть серебрушек. За пять дней торговли. Минус Верины десять процентов. Минус сливки для Апельсина. Минус мука на завтра.

— Сорок крон, — повторила я.

— Можно в рассрочку. Серебро. Я договорюсь в Гильдии. Мастерница Лорен меня любит. Ну, то есть, не любит, она никого не любит. Но уважает, — она помолчала. — А камень —

это надо на рынке посмотреть. Пойдём? Завтра? С утра? Я как раз собиралась, мне пружины нужны. И ещё медный лист. И ещё одна штука, которая называется «клапан Дебре», но её никто не продаёт, потому что её никто не делает, потому что её придумала я, и её надо сначала самой сделать, а для этого нужен медный лист...

— Пойдём.

* * *

Ветошный рынок был за рекой.

Мы шли туда пешком — Элиза сказала, что на извозчике «скучно и дорого, а пешком — видно всё». Через весь Медный квартал, через мост с каменными львами, через какие-то переулки, такие узкие, что можно было, раскинув руки, коснуться обеих стен. Элиза шла быстро, размахивая руками, и рассказывала.

Про Жиля.

— ...и он мне сетеметатель вернул, представляешь? Купил его тогда, чтобы меня поддержать, а потом вернул, сказал — «он тебе нужнее, ты его усовершенствуешь». А я его разобрала. А потом собрала. А потом он сработал в мастерской и накрыл соседского кота. А Жиль пришёл, увидел кота в сетке, и знаешь, что сделал? Засмеялся. И помог вытащить. И кот его поцарапал. А он всё равно смеялся, — Элиза вздохнула. — Лидия, как ты думаешь, это любовь?

— Что именно?

— Ну, вот это. Когда мужчина смеётся, а кот его царапает.

Я подумала.

— Мне кажется, это хороший признак, — сказала я осторожно.

— Вот и мне кажется, — протянула Элиза мечтательно. — Он меня на праздник Первого снега танцевать водил. Я ему три раза на ногу наступила. Каблуком. А он сказал, что не больно. Врал, конечно. Хромал потом два дня, — пауза. — Но врал же. Для меня врал.

Я засмеялась.

— А у тебя кто-нибудь есть? — спросила Элиза. — Там? В твоём мире?

— Нет.

— Совсем?

— Совсем, — я пожала плечами. — Был один. Давно. Костя. Он работал в соседнем цехе, кондитером. Мы встречались полгода. А потом он сказал, что я «слишком много чувствую». И ушёл к девушке из бухгалтерии. Которая, видимо, чувствовала в самый раз.

— Дурак, — уверенно заключила Элиза.

— Наверное.

— Точно дурак, — Элиза посмотрела на меня искоса. — А инспектор?

Я споткнулась. О булыжник. На ровном месте.

— Какой инспектор?

— Ну, инспектор. Ренар. Который пункты, — Элиза сделала невинное лицо. — Марта говорит, он тебе булочку съел.

У кареты. На глазах у всей улицы.

— Он съел булочку. Одну. Это ничего не значит.

— Марта говорит, Гортензия говорит, что Уголёк говорит, что он съел все шесть. В карете. Уголёк в щель видел.

— Уголёк не мог видеть карету из печи!

— Я так и сказала Марте. А Марта сказала, что Гортензия сказала, что Уголёк сказал, что у него «огненное зрение». Сквозь стены.

— Нет у него никакого огненного зрения!

— Я так и думала, — согласилась Элиза. И, помолчав, добавила: — Но булочку он съел.

Я ничего не ответила. Я шла и смотрела под ноги, на булыжник, и чувствовала, как у меня горят уши. Рыжее проклятие. Даже когда врѣшь себе — уши выдают.

* * *

Ветошный рынок оказался огромным.

Площадь, а за ней — ещё площадь, а за ней — улицы, переулки, тупики, и везде, везде — прилавки, лотки, палатки, телеги, просто тряпки, расстеленные на снегу, и на них — всё. Абсолютно всё. Старая мебель. Старая посуда. Старая одежда. Ржавые инструменты. Книги без обложек. Картины без рам. Подсвечники, утюги, зонтики, часы, ключи, сковородки, клетки для птиц, чучела птиц, живые птицы, какие-то склянки, какие-то камни, какие-то кости — я не хотела знать, чьи.

Пахло жареным, кислым, пыльным, мокрым, сладким.

Кричали торговцы. Кричали покупатели. Где-то играла шарманка. Где-то ругались. Где-то смеялись.

Элиза ныряла в эту толпу, как рыба в воду. Я шла за ней, держась за её фартук, как маленькая.

Огненный ряд был в самом конце. Отдельно от остальных — я поняла почему, когда мы подошли. Здесь продавали всё, что горит, греет, светится и может взорваться. Ламповые камни — в корзинах, грудями, разных цветов и размеров. Нагревательные камни — плоские, круглые, квадратные. Огненные кристаллы — в стеклянных банках, светящиеся изнутри, как светлячки. Какие-то трубки, спирали, медные цилиндры. Огнеупорные перчатки. Огнеупорные фартуки. И везде — таблички: «Сертифицировано Палатой». «Проверено». «Лицензия номер такой-то».

— Палата сюда каждую неделю приходит. Проверяет. Тут без сертификата нельзя. Штраф — до ста крон. Или закроют.

— Ренар приходит?

— Иногда, — Элиза хитро на меня посмотрела. — А что?

— Ничего. Просто спросила.

Саламандровых камней в Огненном ряду было три. Все — у одного продавца, старого, седого, с бельмом на глазу. Элиза долго их рассматривала — в лупу, на свет, на ощупь, прикладывала к ним какой-то медный прибор с иглой. Первый был треснутый. Второй — «слабый, на нём можно разве что чайник греть». Третий — хороший, но четырнадцать крон, и продавец не уступал.

— Тринадцать, — сказала Элиза.

— Четырнадцать, — ответил ей продавец.

— Он с щербиной.

— Это не щербина. Это узор.

— Это щербина. Вот, смотрите. В лупу.

— Мне не надо в лупу. Я этот камень тридцать лет знаю.

Это узор.

— Тринадцать.

— Четырнадцать.

Я стояла рядом и смотрела на камень. Он был красивый. Тёмно-красный, почти чёрный, размером с мой сжатый кулак, гладкий, как речная галька. Внутри — если присмотреться — что-то медленно двигалось. Как огонь в янтаре.

Четырнадцать крон. У меня было четыре с половиной.

— Не нужно, — сказала я тихо Элизе. — Потом. Когда накоплю.

Элиза посмотрела на меня. Потом на камень. Потом на продавца. Вздохнула.

— Отложите, — сказала она продавцу. — До конца месяца. Я приду.

— До конца месяца не обещаю, — пожал плечами продавец. — Если кто купит — продам.

* * *

Мы уходили из Огненного ряда, когда меня окликнули.

— Простите! Сударыня! Вы — не Ферн ли?

Я обернулась.

У соседнего прилавка — большого, отдельного, под полосатым навесом, — стоял мужчина. Молодой, лет тридцати. Высокий, хорошо одетый: тёмно-синее пальто с меховым воротником, кашемировый шарф цвета топлёного молока, кожаные перчатки. Светлые волосы — почти золотые, чуть волнистые, свободно падающие на лоб. Лицо — открытое, приятное, с ямочкой на подбородке. Глаза — тёплые, карие, улыбающиеся.

Он улыбался. Всем лицом. Как будто увидел старую знакомую.

— Простите, — повторил он, подходя. — Я, должно быть, ошибся. Но вы так похожи на... Мне описывали. Рыжая, пухленькая, с косынкой в горошек, с лопатой... — он засмеялся. — Нет, лопаты нет. Простите. Это Пьер мне рассказывал. Бакалейщик. Он у нас стоит, на Королевской. Говорит — на улице Трёх Лун открылась пекарня. Хлеб как у Розы Ферн. Внучка Розы печёт.

— Я Ферн, — представилась я осторожно. — Лидия.

— Феликс Дорн, — сказал мужчина и протянул руку. Сняв перчатку. Рука была тёплая — очень тёплая, как будто он только что держал её над огнём. — Управляющий. «Мануфактура тепла Лавье».

Он кивнул на свой прилавок.

Прилавок был огромный. Ярко освещённый. За ним стояли двое продавцов в одинаковых фартуках, с одинаковыми эмблемами на груди — круг, внутри которого было что-то

вроде солнца. На прилавке — камни. Сотни камней. Маленьких, плоских, тёмно-оранжевых, размером с ладонь. Они лежали аккуратными рядами, в деревянных ящичках, и светились изнутри мягким, тёплым, янтарным светом. И грели. Я чувствовала их тепло даже отсюда — через три шага, через морозный воздух.

Над прилавком висела вывеска:

«ТЕПЛО — КАЖДОМУ ДОМУ!

Грелочный камень «Мануфактуры» — пять медяков.

Греет комнату неделю. Сертифицировано Палатой».

Пять медяков. Полсеребрушки. Я быстро посчитала — это было дешевле, чем дрова на один вечер.

Вокруг прилавка толпились люди. Много. Женщины в платках, мужчины в рабочих куртках, старухи с корзинками. Они брали камни — по одному, по два, по пять, — расплачивались медяками и уходили, прижимая камни к груди, как я прижимала хлеб.

— Вы их... продаёте? — спросила я. — По пять медяков?

— Продаём, — сказал Феликс Дорн. И улыбнулся ещё шире. — Мы продаём тепло, сударыня Ферн. Это наша миссия. Ни одна семья в Лавье не должна мёрзнуть зимой. В Нижнем городе, на Пятой набережной, в Кожевенном квартале — люди топят печи мусором, потому что дрова дорогие. Дети болеют. Старики умирают, — он покачал головой. — А наш камень — пять медяков. Неделя тепла. Без дыма, без огня, без риска. Можно оставить в комнате с ребёнком —

ничего не случится.

Я смотрела на камни. На людей вокруг прилавка. На старуху, которая только что купила три камня и теперь прятала их под шаль, и лицо у неё было такое, будто ей подарили котёнка.

— Как вы это делаете? — спросила Элиза у меня из-за плеча. Профессионально. С прищуром. — Пять медяков — это себестоимость. Даже ниже. Нагревательный камень такого размера стоит минимум серебрушку. Как вы продаёте по пять медяков?

Феликс Дорн посмотрел на неё. Улыбнулся. Немного иначе.

— Мастер Рон, если не ошибаюсь? Элиза Рон? Лицензия номер один? — он поклонился. — Наслышан. Поздравляю. Это заслуженно, — пауза. — Наш секрет — в масштабе, мастер Рон. Мы производим много. Очень много. Своё сырьё, свои мастера, свои мастерские. Это снижает себестоимость, — он развёл руками. — Никакой магии. Простая экономика.

Элиза ничего не сказала. Но я видела, что она ему не поверила.

Феликс Дорн снова повернулся ко мне.

— Сударыня Ферн, можно я скажу вам одну вещь? Совершенно не по делу?

— Говорите.

— Я пробовал ваш хлеб. Пьер дал. Вчера, — он прижал руку к груди. — Я не пекарь. Я ничего не понимаю в хлебе.

Но я понял, что это лучший хлеб, который я ел в своей жизни. Лучше, чем во дворце. Я однажды ел во дворце — на приёме, — и там хлеб был хуже.

Я покраснела. До ушей. Проклятие.

— Это «почти». Почти как у Розы.

— Тогда я боюсь представить, каким был хлеб у Розы, — сказал Феликс Дорн. И засмеялся. Легко, весело, как будто мы были старыми друзьями. — Пьер сказал, что вы печёте у соседки. Потому что вашу печь опечатали.

— Опечатали.

— Палата?

— Палата.

— Ренар? — он поднял бровь.

— Ренар. Вы его знаете?

— Кто ж его не знает, — Феликс Дорн вздохнул. Театрально. — Наша Мануфактура проходила у него проверку. Три раза. Он нашёл сорок два нарушения. В первый раз. Во второй — тридцать одно. В третий — ни одного, и подписал. Очень... тщательный человек, — пауза. — Я его уважаю. Правда. Но работать с ним — всё равно что танцевать с ледяной статуей. Красиво. Холодно. И ноги отдавливает.

Я засмеялась. Не смогла сдержаться.

— Послушайте, — сказал Феликс Дорн. Чуть тише. Наклонившись ко мне. — У меня есть предложение. Совершенно деловое. Ваша печь — огненный объект третьего класса. Чтобы её открыть, вам нужно пройти через все круги Пала-

ты, через все двадцать... сколько там у Ренара пунктов?

— Двадцать три.

— Двадцать три, — он покачал головой. — Это месяцы. И деньги. Много денег. А я могу предложить другое, — он кивнул на свой прилавок. — Наши камни. Большие. Промышленные. Мы ставим их в пекарни по всему городу. Без огня, без контура, без существ — без ничего. Просто камни. Они греют ровно, как солнце. Печь вашей бабушки можно перевести на них за неделю. И Палата не нужна — у нас сертификат на всё. Камень — это не огненный объект. Это нагревательное устройство. Совсем другой класс.

Я смотрела на него.

Без огня. Без контура. Без двадцати трёх пунктов. Без ледяных камней в ящике. Без экзамена по растопке, который мне надо сдать перед инспектором Ренаром, глядящим на меня ледяными глазами.

Без огня.

Он предлагал мне то, о чём я мечтала всю жизнь. Пекарню без огня.

— А... — я сглотнула. — А Уголёк?

— Кто?

— Существо. В печи. Огненное.

— А, — Феликс Дорн чуть нахмурился. Совсем чуть-чуть. — Ну, с существом можно решить. Палата принимает таких в хранилище. Там им хорошо. Тепло, спокойно, при-
смотр, — он улыбнулся снова. — Это гуманно, сударыня.

Им не нужно работать. Не нужно никого греть. Просто — отдыхать.

— Отдыхать, — повторила я.

— Подумайте, — сказал он. И протянул мне карточку. Плотную, белую, с тиснёным солнцем в круге. «Ф. Дорн. Управляющий. „Мануфактура тепла Лавье“. Медная улица, 14». — И возьмите вот это, — он взял с прилавка один камень — маленький, тёплый, светящийся — и положил мне в ладонь. — Подарок. Чтобы вы попробовали. Положите в комнате, где спите. Увидите — это совсем не страшно.

Камень лежал у меня на ладони. Тёплый. Мягкий. Без огня.

— Спасибо.

— Это вам спасибо. За хлеб, — он поклонился, снова надел перчатку и вернулся к прилавку, где его уже ждала толпа.

Я стояла и смотрела на камень.

— Лидия, — сказала Элиза. Тихо. Станным голосом.

— Что?

— Медная улица, четырнадцать, — Элиза смотрела на карточку у меня в руке. — Ты знаешь, где это?

— Нет.

— Это за аркой. С той стороны. Где кирпичная стена с цирком, — Элиза помолчала. — Первый дом на Медной, сразу за нашей улицей. Там раньше был склад. Пустой. Двадцать лет пустой.

— И что?

— Ничего. Просто... совпадение.

Мы пошли обратно.

* * *

Уголёк учуял камень, как только я вошла в пекарню.

Он сидел на столе — всё там же, кольцом вокруг формы, с Апельсином у хвоста. Тусклый, полусонный. Когда я переступила порог цеха, он вдруг поднял голову. Резко. Ноздри у него раздулись. Трещины на шкуре вспыхнули — не ярко, а как-то... неправильно. Тускло-оранжевым. Как у больного.

— Что это? — спросил он. Голос у него был странный. Сдавленный.

— Что?

— У тебя в кармане. Что это?

Я достала камень. Тёплый, светящийся, янтарный.

— Грелочный камень. Мануфактура тепла. Мне подарили. На рынке. Человек по имени Дорн. Он сказал...

— Выброси, — сказал Уголёк.

— Что?

— Выброси! — он поднялся на все четыре лапы. Апельсин отскочил в сторону, шипя. — Выброси его! Немедленно! Вон из моей пекарни!

— Почему? Это просто камень! Он греет! Он сертифицирован!

— Он пахнет холодом.

Я замерла.

— Что?

— Холодом, — Уголёк смотрел на камень. Глаза у него были не оранжевые — тусклые, почти серые. — Он тёплый. Но пахнет холодом. Как... — он запнулся. — Как то, что украли. Как огонь, который не знает, для кого горит.

Я посмотрела на камень у себя в руке. Тёплый. Мягкий. Янтарный.

— Я не понимаю.

— Я тоже, — сказал Уголёк. И вдруг весь сжался. Стал меньше. — Я не понимаю. Но мне от него плохо. Рыжая. Пожалуйста. Унеси.

Я вынесла камень на улицу. Положила на снег у крыльца. Снег под ним не растаял.

Я стояла и смотрела. Камень лежал на снегу, тёплый — я чувствовала его тепло ладонью, — светился янтарным светом. А снег под ним был белый, твёрдый, нетронутый. Ни капли воды. Ни лужицы. Как будто камень не грел снег. Как будто он грел только тогда, когда его держат в руках. Только человека.

— Элиза! — позвала я.

Элиза вышла из мастерской. Посмотрела на камень. На снег под ним. Присела на корточки. Долго смотрела.

Потом достала из кармана свой медный прибор с иглой. Поднесла к камню.

Иголка дёрнулась. Закрутилась. Остановилась.

Указывала — я проследила взглядом — на арку. На кирпичную стену с афишей цирка братьев Луэн.

На Медную улицу. Дом четырнадцать.

— Это не их огонь, — сказала Элиза тихо. — В камне. Огонь — не их. Не мануфактурный, — она подняла на меня глаза. Кудряшки у неё на лбу слиплись от пота, хотя на улице был мороз. — Я не знаю, чей. Но он... он похож на твой. На Угольков. На тот, что был в печи, когда Уголёк её растапливал.

Мы смотрели друг на друга.

— Совпадение.

— Совпадение, — согласилась Элиза.

Ни одна из нас в это не верила.

Элиза завернула камень в огнеупорную тряпку и унесла к себе в мастерскую. «На экспертизу», — сказала она. Я вернулась в пекарню.

Уголёк лежал на столе. Свернувшись. Тусклый. Апельсин снова лёг у его хвоста — осторожно, прижавшись боком. Урчал.

Уголёк не возражал.

— Ушёл? — спросил он, не поднимая головы.

— Ушёл. Элиза унесла.

— Хорошо.

Я села на табуретку рядом со столом. Протянула руку — медленно, осторожно — и положила ладонь на край стола. Рядом с его хвостом. Не касаясь. Просто рядом.

Тепло от него шло слабое. Едва заметное.

— Тебе плохо? — спросила я.

— Скучно. Без печи. Без хлеба. Без огня. Я тут лежу и...

— он помолчал. — Остываю, рыжая. Понемногу. Как хлеб на подоконнике.

— Я тебя растоплю. Скоро. Сорок крон на контур. Ещё десять — на кладку. Двадцать три пункта. Я сделаю. Обещаю.

Уголёк приоткрыл один глаз. Тусклый, оранжевый.

— Ты огня боишься.

— Я спичку зажгла, — возразила я. — Вчера. В Палате. Сама.

Он открыл второй глаз.

— Сама?

— Сама. Инспектор погасил. Я не смогла. Но зажгла — сама.

Уголёк долго смотрел на меня.

— Пожарный, — сказал он наконец. С отвращением. — Пожарный помог.

— Помог.

— Тьфу.

Он закрыл глаза. Но трещины на его шкуре — я видела — стали чуть ярче. Совсем чуть-чуть.

— Сорок крон, — пробормотал он. — Это много?

— Это очень много.

— Тогда пеки быстрее. И больше. И не раздавай.

— Я не раздаю.

— Полтора каравая сегодня. Щипаная говорила.

— Полтора — это не раздаю. Это маркетинг.

— Это что?

Я подумала.

— Это когда отдаёшь немножко, чтобы потом пришли за многим.

Уголёк хмыкнул. Из ноздрей у него вылетело облачко дыма. Маленькое, тёплое, пахнущее корочкой.

— Роза так делала. Она это называла — «кормить улицу». Улица сыта — пекарня жива.

Я сидела рядом с ним, положив ладонь на край стола, и смотрела, как дышат трещины на его шкуре. Медленно. Тускло. Но дышат.

«Остываю, рыжая. Понемногу. Как хлеб на подоконнике».

Сорок крон. Десять дней на первые три пункта. Двадцать три пункта всего.

Я встала. Пошла к Марте. Замешивать тесто на завтра. На тридцать караваев. Не на двадцать пять.

Глава 8. Ночная проверка

На шестой день я переехала в пекарню.

Не потому, что решила остаться. Нет. Я себе это сказала очень твёрдо, раз десять, пока таскала чемодан через улицу: не потому, что решила остаться. А потому, что вставать в четыре утра в лавке у Веры, идти через улицу в пекарню, замешивать тесто, потом нести его к Марте, потом обратно, — это было глупо. И потому, что Вера по ночам не спала, а сидела на кухне со своими клеймами, — у неё через два месяца экзамен, раздел четыре, какой-то Дювиль, — и я ей мешала. И потому, что Мира начала оставлять мне на подушке записки: «Не забудьте, что у Веры кончился сыр». И потому что...

Ладно. Потому что Уголёк остывал.

Я это видела. Каждый день. Он лежал на дубовом столе, свернувшись вокруг формы для хлеба, и с каждым днём трещины на его шкуре светились чуть тусклее. Он почти перестал ворчать. Почти перестал ругаться с Гортензией — она прилетала, говорила «здравствуй, головешка», а он отвечал «здравствуй» — просто «здравствуй», без «щипаной», — и Гортензия улетала с таким лицом, какое бывает у сорок, когда им страшно.

Он сказал мне, что огонь живёт от тепла. Не от дров — от тепла. От того, что рядом кто-то есть. Кто-то живой, тёплый, кто печёт и думает о хлебе. Апельсин помогал — немного.

Но Апельсин был кот, а коты думают о мышах.

Поэтому я переехала. В комнату над пекарней.

Комната была маленькая, под самой крышей, со скошенным потолком и круглым окном, похожим на иллюминатор. Узкая кровать — железная, с облезлой краской. Комод. Стул. Сундук. Пыль — везде, толстым слоем, как снег. Я отмывала её два дня. Под пылью на полу нашёлся коврик — вязаный, из цветных лоскутков. Под ковриком — половица, которая поднималась. Под половицей — тайник. В тайнике — ничего, кроме деревянной лошадки. Маленькой, с обломанной ногой, с облупившейся краской.

Я взяла её в руки, и у меня затряслись пальцы.

Я её помнила. Не так, как помнят — картинкой. А как-то иначе. Руками. Пальцы помнили, как лошадка лежит в ладони. Как гладко отполирован её бок. Как торчит обломок ноги — острый, колючий, я об него вечно царапалась.

Это была моя комната. Тогда. До пяти лет.

Я сидела на полу, с лошадкой в руках, на вязаном коврике, и смотрела в круглое окно. В окне было видно небо и три луны. И трубу пекарни — свою трубу. Из неё больше не шёл дым.

Потом я спустилась вниз. Положила лошадку на стол, рядом с Угольком.

Он открыл один глаз.

— Это что?

— Моя лошадка. Нашла под половицей.

Уголёк смотрел на лошадку долго.

— Ты её прятала, — сказал он наконец. — От бабки. Бабка сказала, что у неё нога сломана и надо выбросить. А ты не дала. Ты её спрятала под пол и говорила, что лошадка «болеет», и носила ей хлебные крошки. — Пауза. — Каждый день. Крошки. Я видел. Через пол.

— Ты видишь через пол?

— Я огонь. Я вижу всё, что тёплое. Ты была тёплая.

Я положила руку на стол. Рядом с его хвостом. Он — я не поверила — сдвинул хвост. На палец. Так, что кончик его коснулся моего мизинца.

Было горячо. Не обжигаяще — как от чашки с чаем. Я не отдёргнула руку.

— Тёплая, — сказал Уголёк тихо. — До сих пор.

* * *

Деньги приходили медленно. Но приходили.

Тридцать караваев в день. Потом — тридцать пять. Потом Марта сказала, что в её печь больше не влезет, и мы начали печь в две смены: первую — в четыре утра, вторую — в шесть. Пьер теперь брал десять караваев. Каждый день. По три серебрушки. И просил пятнадцать.

На восьмой день в окно чайной постучал лакей. В ливрее, в белых перчатках, с каменным лицом. Вручил мне записку на плотной бумаге с птицей и весами на печати.

«Дом Марро заказывает двадцать караваев хлеба с тмином к приёму в честь открытия зимнего аукциона. Доставка

в пятницу к пяти часам вечера. Оплата — четыре серебрушки за каравай. К. Марро».

— Корнелия, — сказала Вера, когда я показала ей записку. — Это Корнелия.

— Четыре серебрушки? Это же вдвое!

— Корнелия не торгуется. Она считает, что хорошие вещи должны стоить хороших денег. Это у неё от отца, — Вера чуть помолчала. — Единственное хорошее, что у неё от отца.

Я испекла двадцать караваев для дома Марро. Лучших. Каждый — с ровной трещиной, с равномерной корочкой, с тмином, уложенным узором — я сама придумала, ножом, по сырому тесту. Три луны. Серебряная, золотая, чёрная. Чёрную я делала из маковой обсыпки.

Мира отвезла их на извозчике. Вернулась с восемью кронами и с запиской.

«Безупречно. Следующий заказ — через две недели. К. М. Р. S. Мама съела целую горбушку. Сама. Попросила ещё. Спасибо».

Я долго держала записку в руках.

* * *

На девятый день пришёл печник.

Мастер Гаспар Ру оказался маленьким, круглым, лысым человечком с огромными руками — каждая размером с мою голову — и с красным носом, который красноречиво подтверждал примечание инспектора Ренара о четвергах. Был вторник. Нос был красный всё равно. Видимо, по инерции.

Он вошёл в цех. Посмотрел на печь. Подошёл. Положил свою огромную ладонь на свод. Постоял так минуту, закрыв глаза.

— Валлева. Тьфу. Валлева печь. Это он контур ставил. А кладка... — он погладил кирпичи. — Кладка не его. Кладка — Огюста Тибо. Королевского землемера. Он ещё и печником был. По молодости, — мастер Ру открыл глаза. — Двести лет печке. Сударыня, вы знаете, что у вас печке двести лет?

— Знаю.

— Таких в городе — три. Эта, королевская, во дворце, — и в монастыре на горе, — он покачал головой. — Королевскую я чинил. Двенадцать лет назад. Она хуже. Её короли портили. А эту — никто не портил. Ну, кроме того, кто контур выдрал. Это видно. Варвар. — Он плюнул на ладонь и растёр. — Варвар.

— Вы можете её починить?

Мастер Ру посмотрел на меня как на сумасшедшую.

— Починить? — переспросил он. — Сударыня, это не чинят. Это — уважают, — он снова погладил свод. — Кирпич один выпал. Вот тут, — он присел у основания печи, ткнул пальцем в дыру, которую мне показывал Уголёк. — И три трещины в своде. И шов вот тут, видите, — поплыл. Это я сделаю. За три дня. Кирпичом марки «Ш» и раствором на огнеупорной глине. По-тибовски.

— А сколько...

— Десять крон. Девять, если хлеба дадите. Мне Пьер говорил, у вас хлеб.

— Девять крон и хлеб каждый день, пока работаете.

— Восемь крон, — сказал мастер Ру, — и хлеб каждый день, пока работаю, — и ещё каравай в четверг. Мне в четверг закусывать нечем.

Я засмеялась.

— Договорились.

Он работал три дня. Не торопясь. Аккуратно. Каждый кирпич — сначала гладил ладонью, потом стучал по нему костяшкой, потом нюхал, потом ставил. Раствор месил руками — как тесто. Я смотрела и узнавала движения. Те же, что у меня. Подсыпать, подлить, перевернуть, сжать, отпустить. Проверить пальцем.

— Глина — она как тесто, — сказал он мне на второй день, заметив, как я смотрю. — Ей тоже надо, чтобы её уважали. Если злой будешь — ляжет криво. Если торопиться — потрескается.

— Тесто не врёт, — согласилась я.

— И глина не врёт, — согласился мастер Ру. — Врут только люди. И то не все. Пьяные — не врут, — он подумал. — Пьяные просто путают.

Уголёк всё это время лежал на столе и следил за мастером. Внимательно. Не говоря ни слова. Только когда мастер поставил последний кирпич — тот самый, на место выпавшего, в нижний правый ряд, — Уголёк вдруг поднял голову и сказал:

— Тысяча триста сорок два.

Мастер Ру замер. С мастерком в руке. Медленно обернулся.

Посмотрел на Уголька. На его чёрную, в трещинах, кожу. На тусклые оранжевые глаза.

— Это кто сказал? — спросил он.

— Я, — ответил Уголёк. — Тысяча триста сорок два кирпича. Было тысяча триста сорок один. Теперь — правильно.

Мастер Ру смотрел на него ещё секунду. Потом медленно положил мастерок. Вытер руки о фартук. Подошёл к столу. Поклонился. Низко, в пояс, как кланяются в церкви.

— Сударь, простите, что не поздоровался. Я не знал, что печь — с хозяином.

Уголёк смотрел на него. Растерянно.

— Ты... ты меня не боишься?

— Я? — мастер Ру выпрямился. — Сударь, я сорок лет кладу печи. Я с огнём на «ты». А с хозяином печи — на «вы». Так меня дед учил, — он помолчал. — Дед говорил: в каждой старой печи живёт кто-то. Кто — неважно. Важно — уважать. А кто не уважает — тому печь не служит.

— Пожарный, — сказал Уголёк мрачно. — Меня назвал «малым элементом».

Мастер Ру поморщился.

— Ренар-то? — он махнул огромной рукой. — Ренар — мальчишка. Ему тридцать лет. Он с огнём на «вы». С перепугу, — пауза. — Но мальчишка хороший. Честный. Меня

один раз из печи вытащил — я там уснул, в четверг, — а я его потом мастерком... Ну, не важно. Не обижайтесь на него, сударь. Он ещё научится.

Уголёк посмотрел на меня. Я пожала плечами.

— Ладно, — проворчал Уголёк. — Не буду обижаться. Немножко буду. Но не сильно.

* * *

Элиза делала контур.

Серебро она взяла в Гильдии в долг — мастерица Лорен разрешила, «под мою личную ответственность, Рон, и если ты его испортишь, я тебя лично испорчу». Тридцать шесть граммов лунного серебра, в виде тончайшей проволоки, намотанной на костяную катушку. Элиза носила её на шее, на цепочке, как медальон, и не снимала даже на ночь.

Первое кольцо она протянула за два дня. Второе — за три. Работала по вечерам, после своих заказов, при свете лампового камня, сидя прямо в печи — по пояс, высунув наружу только ноги в ботинках. Пела. Всегда одну и ту же песню — про моряка, который ушёл в море и не вернулся, а его невеста ждала его сорок лет, а потом вышла замуж за мельника, «и правильно сделала».

— Почему правильно? — спросила я однажды.

— Потому что сорок лет — это много, — сказала Элиза из печи. — Мельник — хороший человек. Он тоже ждал. Её. Сорок лет. Просто его никто не замечал.

Третье кольцо — главное, центральное — должно было

держаться на саламандровом камне. А камня не было.

Четырнадцать крон. У меня было — после всех расходов, после Вериных десяти процентов, после мастера Ру, после сливок для Апельсина, после муки, тмина, соли, дров для Марты, после восьми крон от Корнелии — одиннадцать крон четыре серебрушки.

— Ещё три дня, — сказала я Элизе. — Три дня — и куплю.

— Если его не продадут.

— Если не продадут.

— А если продадут?

Я не ответила.

На десятый день — последний день срока для первых трёх пунктов — мы с Элизой поняли, что не успеваем. Кладка — готова. Регистрация — заявление подано, слепок снят. Контур — два кольца из трёх. Без третьего, без камня, он не работал.

Значит, штраф — пять крон, а не одна. Значит, ещё четыре кроны долой из коробки.

Значит, камень — ещё на четыре дня позже.

Я сидела вечером в цеху, на табуретке у стола, и месила тесто на завтра. Сорок караваев. Злилась. Тесто злилось вместе со мной — липло к рукам, не хотело собираться, ложилось на стол серым обиженным комом.

— Ты злая, — сказал Уголёк со стола.

— Я не злая.

— Ты злая. Тесто злое. Я чувствую.

— Ну и что! — я хлопнула ком теста об стол. Мука взлетела облаком. — Ну злая! Имею право! Я десять дней работаю по двадцать часов! Я пеку, продаю, считаю, мою, белю, таскаю мешки, хожу на курсы к этому... этому... — я задохнулась. — И всё равно не успеваю! Четыре кроны! Четыре кроны штрафа! Из-за одного дурацкого камня!

— Не злись на тесто. Оно не виновато.

— Я не на тесто злюсь!

— А на кого?

Я не ответила. Я месила.

В дверь постучали.

* * *

Было десять вечера. Ночь, мороз, снег. Улица — тёмная, тихая, только в окне у Веры горел свет и у Элизы в мастерской что-то шипело.

Я открыла.

На крыльце стоял инспектор Ренар.

Не в форме. Это было первое, что я заметила. Без серого пальто с медным пламенем — в обычном, тёмном, шерстяном, с поднятым воротником. Без папки. Без перчаток — голые руки, красные от мороза. В руке — жезл. Только жезл. Как будто без него он не умел ходить.

— Добрый вечер, — поздоровался он.

— Вы что здесь делаете? — спросила я. Не очень вежливо. Руки у меня были в тесте по локоть.

— Мастер Рон сообщила мне, что второе кольцо контура установлено. Его нужно проверить. До установки третьего. Иначе, если во втором есть дефект, третье его усилит.

— Сейчас? В десять вечера?

— Днём я на службе.

— А сейчас?

Он помолчал.

— Сейчас — нет.

Я смотрела на него. На голые красные руки. На поднятый воротник. На снег у него на плечах — он, видимо, шёл пешком.

— Это неофициальная проверка? — спросила я.

— Это... — он чуть нахмурился. — Это консультация. Частная. Бесплатная. В нерабочее время. Протокол не составляется.

— Вы сами это придумали?

— Статья сорок девятая. «Инспектор вправе в нерабочее время оказывать владельцам огненных объектов безвозмездную консультативную помощь», — пауза. — Её никто никогда не применял.

— Почему?

— Потому что у инспекторов нет нерабочего времени. Как правило.

— А у вас?

Он посмотрел на меня. Светлые глаза в темноте казались почти прозрачными.

— У меня, — сказал он. — По-видимому, появилось.
Я отступила от двери.

* * *

Он проверял контур час.

Сначала — снаружи, медленно обходя печь по кругу, водя жезлом вдоль стенок, вдоль свода, вдоль пода. Камень на конце жезла светился то жёлтым, то зелёным, то бледно-голубым. Инспектор смотрел на цвет и молчал.

Потом снял пальто. Аккуратно сложил на табуретке. Под пальто был серый вязаный свитер — толстый, домашний, с высоким воротником. Совсем не форменный. Инспектор Ренар закатал рукава до локтей.

Руки у него были жилистые, сильные. На правой — шрам, от запястья к костяшкам, белый, неровный. И ещё один — я раньше не видела — повыше, у локтя, длинный, как от удара.

Он залез в печь.

Как Элиза. По пояс. Высунув наружу только ноги — в начищенных ботинках, в серых брюках с идеальной стрелкой. И начал проверять изнутри. Я слышала, как он тихо бормочет: «Первое кольцо — допустимо... стык — хорошо... второе — допустимо... перекрёстная связь — отлично... отлично...»

— Отлично? — переспросила я. Не удержалась.

Из печи наступила тишина.

— Мастер Рон, — сказал инспектор, не вылезая. — Исключительно хороший артефактор. Это... — пауза. — Это

можно не передавать ей.

— Почему?

— Она будет зазнаваться.

— Она не будет.

— Будет. Я знаю мастеров. Они все зазнаются.

Уголёк на столе фыркнул. Из ноздрей вылетела струйка дыма.

Инспектор вылез из печи. Задом вперёд — неловко, задев головой край свода. Выпрямился. Отряхнул свитер. На свитере была сажа. На брюках была сажа. На лбу — тоже.

— Второе кольцо исправно. Можно ставить третье.

— Третье не на что ставить. Саламандрова камня нет.

— Я знаю.

— Откуда?

— Мастер Рон сообщила.

— Мастер Рон, — заметила я. — Что-то очень много вам сообщает.

— Она соблюдает порядок. Все этапы работ на огненных объектах третьего класса согласуются с Палатой.

— В десять вечера?

— Она прислала записку в семь. С курьером, — он помолчал. — Курьером был сержант Барро. Он сказал, что «очень спешит обратно».

Я подумала про Элизу. Про Жилия в котелке. Про то, как Элиза пела в печи песню про мельника, который ждал сорок лет, и его никто не замечал.

Я подумала, что Элиза — сводница. И что я её убью.

Утром. Сейчас — некогда.

— Мне нужно доделать тесто. На утро. Сорок караваев. Вы... — я замялась. — Вы можете идти. Спасибо за консультацию.

— Я подожду.

— Зачем?

— Мне нужно проверить ещё одну вещь, — он кивнул на печь. — Тягу. С закрытой заслонкой. Это занимает время.

Я не поверила ни единому слову. Но ничего не сказала.

* * *

Я месила тесто. Он стоял у печи с жезлом. Делал вид, что проверяет тягу.

Мука была на исходе. Мешок, который стоял на поддоне у стены, — новый, двадцать фунтов, от мельника Гро, — надо было открыть. Я подошла. Взялась за край. Мешок был тяжёлый, тугой, завязанный бечёвкой. Я дёрнула. Бечёвка не поддалась.

— Позвольте, — сказал инспектор Ренар.

Он оказался рядом. Не знаю как — только что был у печи, а теперь стоял рядом, у мешка. Взял мешок за горловину. Достал из кармана маленький складной ножик. Перерезал бечёвку.

И поднял мешок. Чтобы перенести к столу.

Мешок был старый. Мельник Гро шил мешки из мешковины, которую, видимо, покупал у тех же, у кого Ренар заку-

пал свои принципы: очень прочную, но только в одном направлении. Шов на боку — тот, на который Ренар нажал, поднимая, — разошёлся.

Мука хлынула. Белым облаком. Прямо ему на грудь, на свитер, на закатанные рукава, на лицо.

Инспектор Ренар стоял неподвижно. С мешком в руках. Весь белый — от волос до ботинок. Мука медленно оседала вокруг него, как снег.

Я смотрела на него.

Он смотрел на меня.

Уголёк на столе издал звук. Короткий, сдавленный, с треском. Как будто внутри у него взорвалось полено.

Апельсин, лежавший у заслонки, вскочил, посмотрел на белого инспектора — и с воплем унёсся в лавку.

— Простите, — сказал инспектор Ренар. Ровным голосом. Из облака муки. — Мешок был повреждён.

— Я... — я зажала рот ладонью. — Я... простите... я не...

Я не выдержала. Я засмеялась. Громко, неприлично, на весь цех, до слёз, согнувшись пополам, держась за край стола. Смеялась и не могла остановиться.

Он стоял и ждал. Весь белый. С мешком.

Потом аккуратно поставил мешок на пол. Отряхнул руки. Мука с рук не отряхнулась.

— Это, — сказал он. — Не регламентировано.

Я засмеялась ещё сильнее.

* * *

Я отряхивала его щёткой. Мартиной, жёсткой, для поло-
виков. Свитер, плечи, спину. Он стоял неподвижно, как ма-
некен в магазине. Только иногда, когда я задевала шею, чуть
вздрагивал.

— Повернитесь.

Он повернулся.

— Наклонитесь. У вас на волосах.

Он наклонился. Я отряхнула ему волосы. Тёмно-русые,
мягкие, коротко стриженные. Мука набилась в них густо, как
пудра в парик.

— Всё. Почти.

Он выпрямился.

На щеке у него осталась мука. Белая полоска, от скулы к
уголку рта. Я её не стряхнула. Не знаю почему. Просто — не
стряхнула. Рука не поднялась.

Я смотрела на эту полоску. Слишком долго.

— Что? — спросил он.

— Ничего.

— Вы смотрите.

— Проверяю соблюдение санитарных норм, — ответила
я. Сама не знаю, откуда взялось. Видимо, его же слова, толь-
ко наизусть.

Он помолчал.

— На моём лице? — спросил он.

— Там нарушение.

Тишина.

Уголёк на столе медленно, очень медленно повернул голову. Сначала к инспектору. Потом ко мне. Потом снова к инспектору. Трещины на его шкуре вдруг вспыхнули — ярко, рыжим, впервые за неделю.

Инспектор Ренар поднял руку. Провёл по щеке. Тыльной стороной ладони. Той, что со шрамом. Мука осталась на пальцах. Он посмотрел на неё.

— Устранено.

— Устранено, — согласилась я.

Мы стояли в цеху, в белом облаке муки, которое никак не хотело оседать. В двух шагах друг от друга. Печь за его спиной — тёплая, отремонтированная, с двумя кольцами контура из трёх. Тесто у меня за спиной — недомешенное, обиженное.

— Мне нужно доделать тесто.

— Мне нужно проверить тягу.

Никто из нас не двинулся.

* * *

Потом я сварила чай.

На своём камне — Элиза принесла мне маленький нагревательный камень в цех, «чтобы ты хоть чай себе грела, а не бегала к Марте». Заварила Мартин чабрец. Поставила две кружки на стол. Рядом — хлеб. Вчерашний, последний, который не продан. С тмином.

— Это не взятка. Это нерабочее время.

Инспектор Ренар посмотрел на хлеб.

Потом сел. На табуретку у стола. Взял кружку. Взял хлеб. Откусил.

Жевал долго. Молча.

— Почти как у Розы, — сказал он вдруг.

Я чуть не выронила кружку.

— Вы... вы знали Розу?

Он помолчал.

— Мне было десять. Мы жили в Кожевенном квартале. Мать брала меня с собой, когда ходила на рынок. Через Медную. Иногда — сюда. На улицу. За хлебом, — он смотрел в кружку. — Роза давала мне горбушку. Всегда. Бесплатно. Говорила: «Растущему мальчику надо хлеба». Рыжая была. Громкая.

Я молчала.

— Потом мы перестали сюда ходить.

— Почему?

Он не ответил сразу. Пил чай. Смотрел в кружку.

— Отец купил грелочный камень, — ответил он. Ровно. Без интонаций. Как будто зачитывал протокол. — Зимой. Было холодно. Дрова дорогие. Камень — дешёвый. На рынке. Без сертификата. Отец не знал, что нужен сертификат. Никто тогда не знал, — пауза. — Камень треснул ночью. Загорелась постель. Потом — комната. Потом — дом. Отец вынес мать. Потом вернулся за мной. Вынес меня, — снова пауза. — Потом вернулся за сестрой.

Тишина.

— Сестру вынесли пожарные. Утром. Она жива. Живёт в Северном квартале. У неё двое детей, — он помолчал. — Отца — тоже вынесли. Утром.

Я не сказала ничего. Я не знала, что сказать.

Он допил чай. Поставил кружку на стол. Аккуратно, ровно, доньшком точно в круглый след от предыдущей кружки.

— Мне было десять, — повторил он. — С тех пор я знаю, сколько стоит камень без сертификата.

Я смотрела на его руку. Правую. Со шрамом. Шрам шёл от запястья к костяшкам — я теперь понимала — как будто он хватался за что-то горящее. За дверь. За косяк. За руку отца.

И второй, у локтя.

— Вы закрыли половину пекарен Нижнего города, — сказала я. Тихо. — Мне Вера говорила.

— Сорок две. Из семидесяти. В прошлом году, — он посмотрел на меня. — Тридцать семь из них открылись снова. После исправления. Пять — нет. Владельцы предпочли продать помещения.

— Вас ненавидят. Говорят, у вас нет сердца.

— Я знаю, — ответил он спокойно. — Это неважно.

— Почему?

— Потому что за прошлый год в Нижнем городе не сгорела ни одна пекарня, — он встал. Начал опускать рукава свитера. — Впервые за двадцать лет.

Он надел пальто. Поднял воротник. Взял жезл.

У двери цеха остановился. Посмотрел на печь. На Уголька на столе.

— Камень на Ветошном рынке, — сказал он, не оборачиваясь. — У продавца с бельмом. Четырнадцать крон. Хороший.

— Я знаю. Я не могу купить. Не хватает.

— Он стоит десять. Не четырнадцать. Щербина у основания — это не узор. Это трещина. Неглубокая. Для третьего кольца контура — не критичная. Но продавец обязан указать её в сертификате. Он не указал, — пауза. — Статья шестнадцатая. Соккрытие дефектов огненного товара. Штраф — сорок крон.

Я смотрела ему в спину.

— Вы хотите, чтобы я... шантажировала продавца?

— Я ничего не хочу. Я консультирую. В нерабочее время. Протокол не составляется.

Он вышел.

Я стояла в цеху. В облаке муки, которое наконец начало оседать.

— Ну? — сказал Уголёк со стола.

— Что «ну»?

— Он сказал «почти как у Розы».

— Сказал.

— Он ел у Розы. В детстве. Горбушки.

— Ел.

Уголёк помолчал.

— Тогда ладно, — ответил он наконец. Ворчливо. — Тогда пусть. Кто ел у Розы — тот... — он не договорил. — Пусть называет «малым». Раз так.

Трещины на его шкуре светились. Ярко. Рыжим. Впервые за неделю.

Я посмотрела на него. Потом на дверь. Потом на свои руки — в муке, в тесте, в остатках сахара.

— Почему ты светишься? — спросила я.

— Тепло. Тут тепло стало. Не знаю отчего, — он посмотрел на меня оранжевым глазом. Хитрым. Очень хитрым. — Ты не знаешь?

— Нет, — ответил я и пошла домешивать тесто.

Оно больше не злилось. Оно легло под руками мягко, гладко, послушно, как будто тоже что-то знало.

* * *

Утром, в шесть, я пошла на Ветошный рынок. Одна. С одиннадцатью кронами в кармане.

Продавец с бельмом встретил меня ухмылкой.

— Четырнадцать, — сказал он, не дожидаясь вопроса.

— Десять.

— Четырнадцать.

— Статья шестнадцатая. Соккрытие дефектов огненно-го товара. Щербина у основания — не узор. Это трещина. Неглубокая. Но она должна быть указана в сертификате. А она не указана, — я положила на прилавок десять крон. — Штраф — сорок крон.

Продавец смотрел на меня. Долго. Ухмылка медленно сползала с его лица, как тесто со стенок миски.

— Кто вам сказал? — спросил он.

— Консультант. Частный. Бесплатный. В нерабочее время.

Продавец посмотрел на десять крон. На меня. На камень. Взял деньги.

Я несла камень домой, прижимая его к груди, как ребёнка. Тёмно-красный, почти чёрный, гладкий, как речная галька. Тёплый. Внутри — медленное, сонное движение. Как огонь в янтаре.

Этот — пах огнём. Настоящим. Рыжим. Не холодом.

Уголёк учуял его, когда я была ещё на улице. Из окна пекарни — того, что выходило во двор, — вдруг полыхнуло рыжим светом. И донёсся вопль. Хриплый, с треском, на всю улицу Трёх Лун:

— НЕСИ! НЕСИ СКОРЕЕ! ТЁПЛЫЙ! НАСТОЯЩИЙ!

Марта на крыльце чайной уронила веник.

Гортензия на крыше лавки распушила перья.

А из мастерской вылетела Элиза, в ночной рубашке, с отвёрткой в одной руке и катушкой лунного серебра на шее, и закричала, перекрикивая Уголька:

— Камень?! Лидия, камень?! Где взяла?! Как?! Он же четырнадцать стоил!

— Десять. Статья шестнадцатая.

Элиза остановилась посреди улицы. Посмотрела на меня.

Прищурилась.

— Кто тебе сказал про статью шестнадцатую?

Я ничего не ответила.

Но уши у меня, конечно, горели. На морозе это было особенно заметно.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.